



Проза бытия  
Иоланта  
Сержантова

12+

# Иоланта Ариковна Сержантова

## Проза бытия

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=65772013](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65772013)*

*SelfPub; 2021*

*ISBN 978-5-00140-820-8*

### **Аннотация**

Проза бытия: новеллы, рассказы, эссе. Не искать в жизни поэзии – это самое простое и самое дурное по отношению к ней...

# Содержание

Не может быть...	6
Страдания	9
В тон лунного света	11
Памяти...	13
Со сна	15
Мимо не пройти...	17
Гений	19
Успеть	25
Маленький лесной солдат	28
Как полагается	30
Бывает	32
Пасха	35
Малая Родина	38
Быть понятым	42
Жилец из первой квартиры	44
Они были...	47
Весенняя ночь	50
Навсегда	53
Обыкновенная жизнь	57
Соловей и вода	61
По-братски	63
Во что обуто детство	67
Порочный круг	70

Сестра	73
По-человечески	77
Поверка	79
Мог	80
Будущее	83
Из прошлой жизни...	85
Ненастье	91
По-деревенски	93
Страх	95
Если есть...	97
На всё воля...	100
Здесь живут люди...	103
Зато какая...	108
Для любого	110
Никто и не обещал...	113
Знаки	116
Прощение	118
Счастлив по-настоящему...	120
Греческий стиль	123
В этот день...	125
Равновесие	128
Пасмурный день	130
Мелодия рассвета	132
Порядка ради	134
Вовремя	136
Цветок души...	139

Покуда можешь	143
Вина	145
Динка	147
На откуп памяти	150
Прекрасный мир	152
Гимн природе	155
Столь яду в нас самих...	157
Не скрывая желания жить	159
Счастье	162
Галантерейный магазин	166
Полнозвучие бытия	169

# Иоланта Сержантова

## Проза бытия

### Не может быть...

Вы спросите меня, откуда я узнаю о наступлении весны, и о том, что повороту вспять уже не бывать? Я распознаю это по тем явным знакам, что подаёт виноградная лоза. Когда розовеют её дочерна серые губы, обмётанные лихорадкой паутины, а тонкие плети рук становятся неотвратимо упрямы и дерзки. Когда, словно отточенные влагой, рисовальные кисти её почек, делаются вдруг вымазанными бело-зелёной краской. Ощупывая подле себя, лоза нехотя, не враз раскрывает карты листвы<sup>1</sup>, и под шумок её игры с ветром, тянется дальше, чем была.

Лоза умеет дать приют любому, кто не спросит, и так изошрённа в этой науке, что, бывает, соседство двух птичьих семейств в десяти всего вершках одно от другого, открывается той, причиняющей беспокойство порой, когда птенцы, становясь на крыло, путают гнёзда. И тогда уж – суета, нераз-

---

<sup>1</sup> зеленая масть в игральных картах – символ энергии и жизненной силы, весны, запада, воды. В средневековых картах изображался в виде жезла, посоха или палки с зелеными листьями, которые при печати карт упростились до черных пик

бериха, пухлый малыш переросток кричит, громыхая жёлтым ведёрком клюва. Ну, и покормит соседка младенца, куда деваться, сама-то не обеднеет, а тот покою не даст, покуда несут.

Всего день спустя, пушистыми грузными ягодами сидят уже птенцы по всему виноградному кусту, ждут, пока отыщут их родители, покрикивают до самых сумерек, дабы не потеряться, таращат испуганные, косые от природы глазёнки. Бывает, что никто и ничто, кроме наступления ночи не в состоянии успокоить птенцов, и, так и не дойдя до плетёной корзинки гнезда, вынуждены они ложиться спать там, где застала неизвестность.

Да так страшно, во тьме-то! Любой шорох таит одни только опасности, а всякая расщелина промеж камней мнится змеёю, и опасна она лишь если взаправду окажется ею. И тогда уж,— сиди и молчи, кажись камнем.

Единственно, кто представляется себе ночью молодцом, — так это коротко стриженный весенний лес. Прозрачны видения им своей судьбы, звёзды обрамляют чело, и ничего, кроме бремени вечности и славы не в состоянии омрачить его.

Ну, так на то она и весна, чтобы всё плохое было где-то там, в далёком «никогда», которое наверняка позабудется или растеряется по дороге туда. Иначе просто не может быть.

Ну – никак...



# Страдания

Чёрный дрозд торопился на восток, и, пролетая недалеко от пруда, заметил, как низко кружит ястреб над водой. Тот то ли обознался, либо привиделось что, или спутал сморщенные ветром воды с нахмуренным высоким лбом дороги, по которой снуют мышата, семена розовыми носочками, и прогуливаются мыши в приличных белоснежных гольфах. Ястреб натянулся струной, зазвучал воздушно, пытаясь коснуться одним крылом юга, другим севера. Иногда он разворачивался, помогая себе не более, чем взглядом в нужную сторону, но, за какой бы край света не цеплялся его клюв, оперение хвоста неизменно оказывалось нежно-бежевым на просвет. Эта незначительная черта как-то умаляла строгость ястреба, давая надежду на то, что, кабы сойтись с ним ближе, то окажется, будто он не так уж и суров.

Внизу, прямо под ним, рыба хватала ртом воздух. Она не лежала поверженной или беспомощной на берегу, но совершенно явно стремилась, находиться хотя наполовину здесь, на вольном ветру, и по самые жабры – там, в воде. Казалось, ей мало окружающей лёгкости и свободы движений, хотелось кружить под облаками, как ястреб, куражиться вместе с ним над теми, кто прозябает внизу. Но... не было мочи: ни вздохнуть, ни взлететь. Тугих потоков воды жаждал её вдох, одни они давали силу двигаться и мечтать о недостижимом.

Издали за бесплодными усилиями рыбы наблюдал цветок лепешечника<sup>2</sup>, совсем дитя, весь в пуху амбиций и норова. Обеими руками он крепко держался за мать, но тянул носок белой ножки корешка, недвусмысленно показывая, что готов уже ступить в самостоятельную жизнь. У матери он был не один, и, кажется, хотя ей было за кого поволноваться кроме, но, по обыкновению, бОльшая забота об ком-то порождает излишнюю к нему любовь. Конечно, если она бывает таковой. Не в силах остановить его намерение отнять руки, не смея даже перечить, мать шёпотом молила своё дитя:

– Остановись, глупыш, не торопи время. Всё будет, а когда оно свершится, станешь ты сокрушаться о сей скуке, да о канувшей в Лету безмятежности маминого уютного бока и колючего её характера. Но... тебе ж всегда удавалось спрятать мокрый нос в её гладких складках, и не пораниться, так чего ж тебе ещё? Обожди, побудь рядом...

...Сколь страстей при малом свете, да на одном крошечном клочке земли. А коли поболе места, да поярче?!

Чёрный дрозд с огоньком в клюве летел на восток. Он торопился, дабы возжечь зарю.

---

<sup>2</sup> (лат.) Cactus

## В тон лунного света

В тон лунного света, лепестки цветов вишни, не терялись в ночи, но светили ровным светом, как делают это светлячки. Измученные вниманием шмелей с самого рассвета, они едва дождались заката, чтобы обрести привычный вид. Ибо знали, что пройдёт совсем немного времени, одежда совершенно потеряет вид, и их придётся отдавать в стирку ветру, который отнесёт нежные наряды дождю, а тот, в свою очередь, по обыкновению позабудет вернуть.

Ласточки, пока стригли обросшие седые букли облака, болтали по-птичьи о своём, о птичьем. И они были так увлечены, что не замечали обращённый на них укоризненный взор ворона. Тот за зиму отвык от лишней болтовни, и теперь, вынужденный слышать то, что не предназначалось для его ушей, был взбешён и взволнован, но более всего – смущён. Ласточки обсуждали будущую и прошлую семейную жизнь, а, заодно, выбирали место на одной из многочисленных полках округи для расколотой надвое пиалы своего гнезда. Некогда они брали уроки гончарного искусства, но научились ему лишь наполовину, так как бросили его на пол пути, и от того умели лепить из глины не всю чашу, а только одну её сторону. Впрочем, для того чтобы устроить уютную колыбель для ребятишек, им вполне хватало и её.

Не дослушав ласточек, ворон улетел, досадливо махнув крылом, облако, собрав остриженные локоны в тучку, направилось в гости к ветру, а ласточки принялись собирать гнездо по маленьким липким кусочкам, которые сами по себе, по одиночке, не значили ничего, – так, грязь, безделица или того хуже.

За те девять дней, что ласточки были заняты лепкой, они успели вдоволь насладиться друг другом и осмотреть местные красоты, до которых, как только появятся малыши, не будет уже никакой охоты.

Помимо прочего, любовались ласточки и венчальным рядом вишни. Ворон не подслушивал, но ясно слышал, как они хвалили ткань и кружево, но вот из-за чего, что в них такого особенного, так и не понял. Он не был сторонником разного рода нежностей, сторонился политеса и прочих премудростей обращения. Ворон был прямолинеен, как солнечный луч поутру и прост, словно дождь, который, сколь ни скрывал бы своё настроение, всё оно – разрыдается и надевает сырости. Такова уж природа... вещей<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> «Природа вещей» – философская категория, которая неоднократно упоминается в Полевой физике. Под природой вещей понимается комплексное представление о причинах и внутреннем устройстве окружающих нас явлений и процессов, которые делают Мир таким, как мы его знаем

# Памяти...

...композитора, радиоинженера и бессменного хранителя "АНСа", фотоэлектронного синтезатора, оживившего "Сольярис",

Станислава Крейчи

(29 ноября 1936 – 4 мая 2021)

Всё в фигурных скобках пролётов голубей, после омовения под струями дождя, утро было чисто и свежо. Если бы я ожидал от кого-то вестей, то, при виде любой из этих птиц, моё сердце замирало бы, в дурном предчувствии. Но голуби летели мимо, и кажется даже сторонились моего окошка. Недолгое умиротворение и довольство жизнью было прервано коротким вопросом друга:

– Ты уже знаешь?

И тонкий ручеёк страха нашёл себе путь, пробежав промеж лопаток в ответ.

Я ещё ничего ни о ком не знал, но вдруг отчётливо вспомнил уютный чёрный кожаный диван напротив фортепиано. Просыпаясь по утрам под аккомпанемент новой музыки, я не спешил открыть глаза, а лежал, прислушиваясь к образам, что слетали с уст музыкальными фразами, и улыбался всё шире и шире. Когда уж для разведённых губ на лице не оста-

валось места, я резко сажился на диване, и принимался хохотать. Неудержимо, звонко, заразительно. И за мною следом смеялась, сменив гнев на милость, строгая, недовольная моим присутствием, бабушка, имени которой уже и не вспомню, мама Рита, Сашка и Стася. Сердечная, не омрачённая ещё ничем радость, играла по белым клавишам Piano<sup>4</sup> именно его беглыми пальцами. Так вот, про то, что оно, его сердце, перестало биться, мне и предстояло узнать сегодня.

Не стану тревожить имён тех, кого уже не вернуть. Скорблю искренне и достойно, посвящая эту новеллу семье Станислава Антоновича Крейчи...

---

<sup>4</sup> фортепиано

# Со сна

Разлинованные, как прописи листочки ольхи были совершенно мокры. Казалось, что некий, не вполне пропащий по-веса, никак не решается испортить нетронутую ещё дурным почерком тетрадь и рыдает над ней о своей незавидной участи. Куда ему, такому? Не иначе, как либо в городовые, либо в дворники.

Мокрый шмель сочувственно покружился подле, но не умея помочь иначе, мягким простым карандашом полёта, начертил широкую линию в сутулом от нависших ветвей просвете тропинки. Грифель воздуха скрипнул протяжно, и шмель скрылся из виду. Дождь шлёпал несколько мокрыми босыми ногами за его спиной, но это не смогло задержать шмеля. Да и вообще, – мало кто был в состоянии сбить его с толку, ибо, заручившись редкой способностью видеть скорее всех живых существ, шмель летал от одного букета поляны к другому, пока находил на то сил.

Утомившись следовать за шмелём, оступившись пару раз, дождь присел на самый край ближнего к нему пня, и в такт исцарапанного донельзя шеллака<sup>5</sup> принялся отбивать ритм

---

<sup>5</sup> shellak – смола kerridae, насекомых-кокцид (лаковые червецы), которую использовали для производства грампластинок

по измазанному землёй колену, издавая звуки, непохожие на него самого.

Пряно и густо дымили ароматы цветущих вишен. Белый шиповник, спутав кОлер, окружил себя белым пухом соцветий, будто птенец. А сосна, покрываясь душистой испариной смолы и скрестив пальчики почек, оглядывалась из осторожности по сторонам, да с тихой жалобой шептала на ухо ветру:

– Скорее бы лето, лето, лето... лето!

Тот нежно гладил её по плечу в ответ, и вздыхал, так как, против общего мнения об нём, не любил поспешности ни в чём, а лето слишком сильно напоминало ему о бренности. Лето было хрупко, жарко и быстротечно, как сама жизнь. То ли дело тягомотина непогоды, распутицы, когда бледные невзрачные дни вязнут друг в друге, из-за чего совершенно неясно, где начинается один и оканчивается другой. Ведь именно такая жизнь и кажется вечной...



## Мимо не пройти...

Вишни... Стоят красавицы в сарафанах из белой жатки с густыми, узкими снежными заносами заломов, да в золотой горошек тычинок. Покачивают стройным станом под руку с ветром, будто девицы на выданье, со стороны на сторону. Издали вишнёвые деревья глядятся, словно бы одетые в лёгкое облако недлинной фаты, чуть ближе оказывается, что любой утончённый и изысканный подвенечный наряд, куда как проще безыскусного платья самой обыкновенной вишни. И никаких на ней натирающих шею бус, или оттягивающих ушки тяжёлых серёг. Золотая пудра тычинок – единое её убранство.

Открытый, сродни наивности, нрав вишни, – не тот, что даётся легко, не от неискущённости, – был очевиден столь, сколь и удивителен. Уронив немало сладких от камеди слёз, вишня научилась прощать обиды, смирилась с их неизбежностью, и, то ли с тем, чтобы отчасти утолить оправданную ими горечь, либо по иной причине, но видела в них одну только измучившую оскорбителя боль, и ничего больше. Кажалось, вишня совершенно перестала себя жалеть. Страдала муками вины молча, но так красноречиво, что, едва это сделалось заметным, её благополучием озаботились иные. Шмели принялись расправлять кружева цветов, птицы следили за тем, чтобы не поломать веток, а виноград, что рос

неподалёку, тянулся, дабы коснувшись нежно, вручить зеленоватый фитилёк виноградного листа, что разгорался всё сильнее. Пламя его трепетало на северном весеннем сквозняке, из лейки дождя капало часто-часто... Но вместо того, чтобы исчезнуть с шипением, или хотя бы замереть, фитиль надувал щёки, словно бы сдерживая смех, и внезапно, с явственным скрипом расправлял скомканную салфетку такого крохотного, но уже совершенно настоящего, совершенного листа.

Переживания, чьи-бы они ни были, всегда стоят того, чтобы не пройти мимо...

# Гений

Судя по звукам, что были слышны сквозь неплотно прикрытые ставни сновидений, к вишне под окном ночью приходил ветер, и наутро её ветви оказались в совершенном беспорядке. Распрямились завитые с вечера локоны, замялась вышивка на груди, а бутоньерка и вовсе – пропала без следа так же, как многое в жизни. Болезненнее всего переносить исчезновение из неё людей. По доброй воле или злему року, – разницы почти нет. И, коли судьба развела до того, как человек ушёл насовсем, не пожалев ни о ком, не обернувшись ни на кого, – не так стыдно говорить про него плохо, не так больно вспоминать о хорошем.

Близкий недалёкий родственник то ли Крупских, подаривших Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину его верную работающую Наденьку, а, может, и его самого, любил... прихвастнуть. Да, нет. Скорее, он верно выбирал момент для того, чтобы поведать правду, которая оказывалась причиной некоего ощущения пряности на сердце. От переживания сопричастности, вследствие возможности лицезреть, говорить с человеком, который знал, помнил тех немногих, добровольно возлагавших на себя бремя ответственности за судьбы большинства. И когда, листая семейный альбом с фотографиями, с нежной, из детства улыбкой, он выговаривал:

«Любимая тётушка, дядя... кузены...», то очарование простоты мешалось с бездной непостижимости происходящего.

Так же точно, как минуту, с большой проницательностью он выбирал и оценивал слушателей, ибо сокровенным нельзя делиться с тем, кто не оценит того. Что толку хвастать открытой звездой перед тем, кто не способен видеть дальше своего носа...

– Хотите, я вас разведу? – Немного тягучим, лайковым лирико-драматическим баритоном вопрошал он, заметив моё недовольство супругом. – Я это сделаю меньше, чем за четверть часа!

И, обнаружив в моих глазах испуг, спешил добавить:

– Ну, что ж вы такая чувствительная, право слово? Шучу я, шу-чу! – И тут же добавлял, – Но, если что... – И многозначительно подмигивал.

Мы познакомились в редакции одной из самых известных в мире газет<sup>6</sup>, которая здравствует и поныне, с выхода своего первого номера, весной 1925 года. Была вторая половина дня, все журналисты, получив на утренней планёрке задание, давно уже сидели по домам и строчили заметки, часто прихлёбывая крепкий холодный чай, с подозрительным

---

<sup>6</sup> В 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной газетой с самым большим в мире тиражом (22 миллиона 370 тысяч экземпляров)

ароматом дубовой бочки<sup>7</sup>.

Не помню, отчего я оказалась в то неурочное время на месте. То ли была назначена какая-то встреча, либо что ещё, но, когда дежурный редактор заметил меня, то очень обрадовался:

– О, как хорошо, что ты тут! Поговори с людьми, пожалуйста. Они тут с жалобой...

Прикидывая возможный размер гонорара за будущую статью, я с удовольствием согласилась, но... кто бы знал, веселилась бы я точно так же, зная, чем всё это закончится.

Жалобщики просили поучаствовать в спорном деле, описывая происходящую в суде тяжбу. Для этого нужно было присутствовать на нескольких судебных заседаниях, и опросить всех сограждан, увязших в процессе. Выслушать пришлось всех, в том числе и героя нашего «романа», который, некогда примерив на себя роль адвоката, проникся ею и явно получал от этого удовольствие.

– Я не то, чем меня именуют, – Любил повторять он. – Я – стряпчий, чиновник по судебным делам. Направляясь на заседание, адвокат оставляет своё сердце дома, я же часто забываю в стакане с водой вставную челюсть, но сердце беру с собой всегда.

---

<sup>7</sup> запах коньяка

Всякий раз, когда судья, опустив взгляд в бумаги дела, предоставлял слово ему, по залу не смели пролетать даже мухи. На каждом слушании с его участием, БОльшая часть мест была занята не фигурантами дела, но почитателями необыкновенного дара стряпчего, который умел изложить суть несогласия сторон так, что оно было понятно даже ребёнку, окажись таковой на месте судей.

– Высокий суд! – Именно этой фразой начинал свою речь он. С лёгким «ы» перед кратким «и», оно заставляло обратить на себя внимание с первых же звуков его, тающего в ушах, голоса.

Последние остатки разума распускались кусочком сливочного несолёного на противне рассудка судейских и гражданских, не оставляя даже пены, так что единственно возможным для всех выходом было согласиться с ним, дабы хотя сколько-нибудь сохранить себя в сознании.

Стоит ли говорить, что, в ответ на честную, откровенную статью о деле, редакцию засыпали гневными письмами от лица весомых чинов и по поручению известных организаций, за коими последовали бы ещё большие неприятности, решить которые можно было одним лишь моим изгнанием из газеты. И оно состоялось куда скорее, чем нашли свой порядок слова данной строки. Раз – и...

– Я виноват в том, что вас уволили, и должен исправить это! Мы не станем мириться с подобным положением вещей, а будем судиться и выиграем дело!

Нисколько не сомневаясь в том, что человек, завершивший в свою пользу тяжбу против ЦК КПСС, сумеет пристыдить редакцию газеты, я, всё же, отказалась. И в ту же минуту получила предложение, воспоминание о котором храню, как хрупкий цветок мака в томике нелюбимого Пушкина, как истёртую телеграмму о предстоящем спектакле, как случайный, но заинтересованный, ни за что не скажу чей, на меня взгляд.

– Дабы, хотя отчасти, компенсировать ущерб, нанесённый вам по моей вине, я предлагаю занять место своего помощника. – Торжественно возвестил он.

Я пыталась возразить, основывая отказ тем, что «моё образование никак не...»

– Деточка! Так и я ни разу не юрист! Я архитектор! – Воскликнул он, и тепло, по-отечески, обнял.

Ту мимолётную и продолжительную паузу между прошлым и будущим, когда моя тугая на цифры память, волшебным образом впитывала номера, суть, логику и текст законов, я вспоминаю с неизъяснимым удовольствием, с ува-

жением к себе и обожаемому наставнику. Восхищение его гением породило уверенность в собственных силах, коей так не хватало... И, через некоторое время, обнявшись на прощание, мы пошли, каждый своим путём.

Архитектор, стряпчий... Павел Лейбович Райский, подростком переживший блокаду, получивший Сталинскую премию второй степени за восстановление Петергофа, рождённый в Ленинграде чудесным воскресным днём 12 января 1930 года... Отвергаемая рассудком вторая дата на его надгробии, перечёркнута линией жизни, что тянется через сотни судеб людей, которым он хотел и сумел помочь.



# Успеть

Пара ласточек попеременно толкает плечом в окно. Резвятся, словно голубки<sup>8</sup>. Обопрутся, прижмутся друг к дружке, взлетят, кружась, крыло о крыло, как рука об руку, и – в разные стороны, – она к дому, он будто бы прочь. И возвращаясь, раз за разом, гулко бьются о стекло ещё и ещё...

– Ну, что же вы, осторожнее, расшибётесь! – Пугаюсь я.

То и дело заглядывая мне в глаза, тут же невдалеке распевается шмель. «До» первой октавы тянет так, как не пропеть больше никому. В хоре он не так хорош, но соло...

Напившись досыта аперитива древесных соков и вежливо облетев шмеля, на подоконник присаживается дятел. Ему, привыкшему за зиму завтракать почти что за одним столом со мной, не хватает теперь внимания и приветов, как часто не достаёт его прочим всем.

– Здорово, дятел! Как жизнь! – Радуюсь ему я.

Слегка распустив замысловатый узел своего галстука<sup>9</sup>, дятел сверкает в ответ сперва одним глазом, потом другим. Ко-

---

<sup>8</sup> неразлучные влюбленные

<sup>9</sup> язык дятла оборачивается под кожей вокруг шеи

ротко вздыхает, приоткрыв клюв, кивает мелко, но опомнившись не вдруг, сочтя то недозволенным панибратством даже среди своих, склоняется низко и долго. После, рассматривая друг друга, мы с грустью осознаём, что кончилось время наших утренних посиделок. Пока, по-крайней мере, не до них. Чтобы не терзать меня дольше, и не страдать самому, дятел решается взлететь. Удивительно, но ему удаётся сделать это так деликатно, вежливо, не подставляя спины, вполоборота... Направляясь к своему дуплу, он ласково задевает яркие кудри дуба, ероша их крылом, и кричит мне что-то ободряющее издали.

Я гляжу ему вслед и чувствую, как слеза украдкой пробирается от щеки до подбородка и растекается у шеи на воротнике. Вот уж, никогда не думал, что буду сокрушаться об ушедшей... зиме.

Стряхнув с себя наваждение малодушия, беру из сеней мелкую сеть и направляюсь к пруду. Там, удерживаясь на плаву, дожидаются меня чуть ли не с ночи жуки, бабочки, мухи, и запоздавшие к закрытию улья пчёлы. Всем нужно дать шанс выжить, врачуя<sup>10</sup> не от того, что кто-то по нраву, но из-за внутреннего побуждения сделать это.

Развесив влажную сетку сушиться на забор, присаживаюсь на горячий порог. Держась по-прежнему рядом, ласточ-

---

<sup>10</sup> приносить освобождение от чего-л. неприятного, тяжелого и т.п.

ки кубарем скатываются с облаков едва ли не за шиворот. Птиц тревожит и нежит близость друг друга. Весенняя истома, коснувшаяся их, закончится скорее, чем надоест. И надо успеть, поторопиться, дабы насладиться ею сполна...

# Маленький лесной солдат

Трясогузка усердствовала, боронила грядку тропинки. Козачёк<sup>11</sup> трудился наперегонки с нею, что часто оканчивалось плачевным для него образом, ибо трясогузка глотала его вместо семени, которое они заприметили сообща. Лесной клоп, хотя и был материалист, приземлённостью<sup>12</sup> своею не хвастал, но с красными от недосыпу глазами ловко управлялся копьём, коим подбирал зёрна и кусочки прочего съестного, которое удавалось отыскать. Поспешившая с суждением трясогузка, ощутив горечь во рту, плевалась звонко, возвращая солдата в строй, сама же взлетала чуть над землёй и оборачивалась веретеном вокруг собственного хвоста, а от отвращения, либо по неловкости, – тут уж как кому угодно. Поторопила она себя, или обозналась, – тоже было не разобрать, но со стороны казалось очевидным, что трясогузка то ли не жаловала, то ли жалела жучков в красной портупее.

Синицы более других сплетничали про красноклопов, пеняя на чересчур острый, по их мнению, вкус, а мышцы обидно подшучивали над ними втихаря, хотя... *gira bien, qui gira le dernier*<sup>13</sup>, – не сумевшие перезимовать грызуны попадали к

---

<sup>11</sup> красноклоп бескрылый (лат. *Pyrhocoris apterus*)

<sup>12</sup> клоп-солдатик бескрыл

<sup>13</sup> "Хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним". Из басни «Два крестьянина и туча» Жана Пьера Флориана (1755— 1794)

солдатикам на стол в первую очередь.

Одни лишь ласточки не обращали внимания ни на прогуливающих в увольнении козачков, ни на их многочисленное войско, марширующее попарно<sup>14</sup>. Занятые друг другом, птицы хлопотали крыльями. В ожидании, пока проснутся прочие жуки, безо всякого сомнения лишь затем, чтобы пожелать им доброго утра, чистоплотные птички обчищали и так опрятные, сияющие атласом грудки. Они возились до той самой поры, когда, заслышав неизменно простуженный крик петуха, принимались скрипеть ставни времени. Занозистые, деревянные его шестерни крутились всё быстрее, уверенно поднимая задник с наскоро намалёванным рисунком рассвета, картонкой чёрного облака на двух верёвочках, да стрелой молнии, что была так похожа на оружие<sup>15</sup> маленького лесного солдата в чёрной форме с красной перевязью.

– Надо же, он совсем не изменился. Словно выбежал с одной из тропинок, по которым я гулял в детстве. Кажется, последний раз я видел его именно там...

– И я!

– И я.

– И я...

---

<sup>14</sup> самец не отпускает самку после спаривания в течении долгого времени, до 7 дней, чтобы исключить спаривание с другим самцом

<sup>15</sup> острым хоботком клоп-солдатик протыкает то, что намеревается съесть

# Как полагается

Сияет разноцветная ручка радуги над сытным варевом котелка земли... Оно только-только вскипело, но окончился ливень, последние капли стекают песнью ласточки и вот, – уже готово, можно начинать.

Минувший дождь навесил повсюду фонарики мелких брызг. Рассвет обещал их возжечь, но что-то не торопится, вероятно страшится ожечься. Закутанный в серый пуховый плат облаков, он прикрывает зевающий рот кружевом, сотканным из цветов вишни, и любит радугой издали.

Филин зычно торопит и нетерпеливо окликает зарю, так что с пней осыпается мишура мха. Он не ложился всю ночь, чтобы вовремя разбудить солнце. Кукушка перебивает его бесцеремонно, но, пристыжено замолкает вскоре, – у неё-то впереди ещё целый день. Тут же, словно нарочно, гуси принимаются кричать «ку-ку!» у всех на виду. Не скажешь, что обознался. Спросонья лает на гусей косуля, а те, опомнившись, разом принимаются за привычное всем гортанное «ха-ха».

Пепел облаков в поднебесье смешался с изгарью<sup>16</sup> ветвей, ещё не обросших листвой. Ветер сметал птиц со скатерти неба в пригоршню, как хлебные крошки. По его вине тени живут словно сами по себе, отдельной ото всех судьбой.

Молодой лист клёна, беседа с тенью, сетует на незавидный свой удел, раскачивает ладонью: «Так-сяк!», – говорит, у него, – «Так-сяк!», но сам-то, – улыбчив и свеж, ибо молод, да не понимает своего счастья пока. А как уразумеет, то уж окажется и сух, и стар.

Ветер, нагулявшись в его голове, метёт подсолнечную шелуху почек с тропинки, и треплет за щёки розовые от юной свежести щёки первых листьев винограда.

Понукаемы тем же ветром, под окном топчутся промокшие насквозь кусты вишни и измятый гроздьями будущих ягод кусты калины. Зелёные их платки да кепи мелькают часто. Пеняя на то, ветер сухо и строго шепчет им о чём-то.

И поверх всего, летит ворон. Раскрыв объятия навстречу земле, стремится к ней, не сдерживая радости, будто бы после долгой разлуки, а она смущается, прячется своё кокетство под снегопадом вишнёвых лепестков. Как оно и полагается каждой добродетельной девице.

---

<sup>16</sup> пепел, зола

# Бывает

Не понимаю, перед кем я провинился, и в чём именно, но... меня укусила божья коровка. Она буквально вцепилась в руку чуть повыше запястья, когда, выйдя на перекрёсток трёх дорог, я раздумывал, по которой свернуть. Каждая казалась достойной того, чтобы потратить на неё толику своей жизни.

По левую руку, не смущаясь вниманием к себе, бродил дрозд. Путаюсь долговязыми ногами в молодой, упругой траве, из-за отчасти утраченной привычки, или вследствие упрямства юной сочной гибкой поросли, – было не разобрать. Подволакивая то одну ногу, то другую, дрозд отыскивал в земле нечто, за чем был послан находящейся в интересном положении подругой. Той желалось отведать орешка, или слив, или, быть может, даже винограда! – да где же его нынче достать. Однако усердие заботливого дрозда вскоре было вознаграждено. Небольшая, аккуратная пирамидка ягод, обронённая по осени дятлом, – гроздь прекрасного чёрного изюма, лежала, упакованная в плотный пакет опавшей листвы. Подхватив веточку лакомства, дрозд приободрился. Возвращаться к своей любезной без угощения он не хотел. Единая, общая для них весна и услада семейных хлопот пролетят так скоро... Неудивительно, что он желал оста-



вить об себе самые приятные впечатления<sup>17</sup>.

С другого боку, по правую от меня руку, протоптав тропинку в сосновой хвое, суетилась зеленушка. Всем на удивление, она заботилась об себе сама. И не то, чтобы брошенка! – то супруг оказался столь мил, что взялся присматривать за старшими детьми, пока она сама приготовит приданое для младших<sup>18</sup>. Сладостно предаваться мечтам, в заботе о ещё не появившихся на свет. Рассуждать про их грядущие подвиги, про не измаранные ещё недомолвками и ссорами дни бок о бок, в окружении тех, кто, открыв рот, встречает каждое твое появление.

Порешив не беспокоить птиц, я сделал шаг, с намерением идти прямо, и вот тут-то был остановлен неожиданным укусом божьей коровки. Изумлённый, я вперил взгляд на руку, и с криком:

– Как?! Ты?! За что?! – Сдунул жучка в траву.

Оглядев меня, словно несмышлёныша, божья коровка поправила задравшийся некстати подол крыл, и повернулась в сторону тропинки, по которой я собирался идти. Не более, чем в пяти шагах от меня, прямо посреди лесного тракта, некстати проголодавшийся лосёнок пил молоко, а его мать,

---

<sup>17</sup> дрозды создают пару всего на один сезон

<sup>18</sup> зеленушка принимается строить второе гнездо рядом с первым, для того, чтобы отложить ещё яиц

не в силах противиться, с умоляющим и одновременно суровым выражением оглядывалась вокруг. Казалось, моё присутствие не встревожило лосиху, куда больше заволновался я сам, ибо никак не мог взять в толк, как же я мог её не заметить?!

Не желая нарушать трогательное, столь редкое единение матери с младенцем<sup>19</sup>, я отступил назад, и медленно, но не таясь, пошёл в сторону дома, беззлобно ругая сердобольного жучка по пути.

– Нет, ну, ты представляешь, меня укусила божья коровка! Меня!!! – Жалуюсь я лишь для того, чтобы услышать в ответ:

– Бывает... – То, единственное, что неизменно приводит меня в привычное расположение духа.

Но как-то это всё... чересчур?..

---

<sup>19</sup> после кормления, лосиха оставляет лосёнка в одиночестве, кормит до достижения 4 месяцев

# Пасха

Стараясь поспеть до рассвета, паучок плетёт паутину на пядлях ветки, словно играя гаммы, быстро-быстро перебирая лапками по невидимым клавишам. Драгоценные грани тонких нитей послушно следуют за ним и так хороши, что иное сердце дрогнет, прежде чем смести в неряшливый ком ажур паучьей авоськи. Чего стоит сей труд? Два-три часа жизни. Так это ж чужой, её не жаль...

Вишнёвые букеты вянут скорее, чем успеваешь налюбоваться на них. Яблоня, затейница, поторопившись, отцвела уже с южной стороны, а с северной... покуда обождёт. Её расчёт в том, чтобы стать нужной, сказаться таковой в искомый час. В высокой траве у её ног, стынувшей на осьми ветрах<sup>20</sup> осенью, долго будет сытно и тепло.

Огнестрельной раной зияет прореха солнца в груди леса. Истёрлась, истрепалась штопка голых ветвей на его локтях. Следуя в неспешной прогулке за светилом, дятел перелетает с дерева на дерево, рея крылаткой, а присаживаясь на ствол, кажет свой породистый профиль и, кажется даже, гордится им. Единое, что не выдаёт его среди нервной зелени листвы, – цвет кафтана. Но нос... нос! – ох, уж этот вез-

---

<sup>20</sup> то же самое, что "на семи ветрах", на юру, т. е. , в месте, открытом всем ветрам

десущий Сирано<sup>21</sup>...!

Намокшим подолом леса – тропинка понавдоль. Непросохшие следы стенаний в ночи, являют её чрезмерную нервность, ибо не так невозмутима она, как желает казаться. Днями, спокойна внешне, тропинка сносит уготованные судьбой терзания, а с наступлением сумерек принимается рыдать. Серп месяца, что недолго падает долу, рая занавесь неба в иных местах до самых звёзд, хотя и слышит шорох земных слёз, не поспевает ни к ним, ни за ними. Вот и тропинка та, сколь не гонись, не имеет конца, но, только-только дотянешься до неё, как вовсе темна, либо от влаги или ещё почему, – не разобрать.

А там уж и утро ранится об острый запах крапивы, да в спину рассвету что-то обидное кричит петух. Взаперти нерукотворных каменных клумб пламенеют маки, сохнет всеведущий пух одуванчика, что, будто изморозью, покрыл землю, и свадебным венком в траве – брошено белоснежное гнездо паучье.

По берегам затонов накиданы обкусанные бобрами хлебные палочки стволов. Сырые, непечёные ещё солнцем баранки муравьиных нор распахнуты почти до самой детской. И

---

<sup>21</sup> (фр. Hercule Savinien Cyrano de Bergerac, 6 марта 1619, Париж – 28 июля 1655, Саннуа) – французский драматург, философ, поэт и писатель, прототип героя пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак»

небо... само небо сияет голубым пасхальным яичком.

# Малая Родина

Я тот ещё соня. Каждому, кто засиживается допоздна, известно то чувство «сырого сердца», с которым трясут тебя за плечи первые аккорды гимна из громкоговорителя в прихожей. А посему, на службу я всегда бегу в полусне, не разбирая дороги и не узнавая знакомых улиц и лиц, струящихся в мутном потоке навстречу друг другу. Вечером же я возвращаюсь домой спокойно, с чувственным удовольствием от каждого последующего шага. Каштановая аллея, которую мне надо пройти от и до, – моя малая Родина, вне которой, сколь бы ни был беспечен, я неисчислимо ничтожен и уязвим. Стойко переживая появление новых людей на свет, взамен ушедшим, она почти не меняется сама. Единственное, в чём можно упрекнуть её, – некая отстранённость. Аллея пытается быть сама по себе, позабыв про то, что, как ни старайся обойти вниманием сей факт, но именно люди помогли ей стать таковой, какова она теперь, с самого рождения – в окружении их, подле старых, хранимых временем домов.

Я помню эти каштаны с тех пор, когда и они, и я были ещё детьми. Выписанная из деревни няня водила меня по жаркой дорожке промеж ними, удерживая от падения за продетый подмышками рушник. Между тем, нежным тростинкам каштанов не давали упасть обёрнутые вокруг их талии

холстины, концы которых были вбиты колышками в землю. Помню, как однажды, когда я уже научился ходить, падая, ухватился за слабое ещё, хотя уже намного выше меня, деревце, и обломал веточку. Няня строго отчитала меня, объяснив простыми словами выросшего на виду природы человека, про то, что у дерева нет ненужного, как нет его и у любого существа, и, если оно отказывается от чего-то, то, – или по нездоровью, или пришла к тому пора.

– Да мешаться в то без крайней нужды не смей! – Погрозила перед лицом напоследок няня.

Впечатлённый её рассказом, с тех пор я перестал топтать даже траву, мне всё казалось, что делаю ей больно, дёргая за зелёные волосья, и от того ступал лишь по тротуару, а босиком соглашался ходить единственно по песку.

Но, вернёмся к каштановой аллее. Когда нам с нею исполнилось по двадцать, мы одновременно перестали расти. Я уехал учиться в другой город, она не изменила своему месту. Приезжая на каникулы, было хорошо заметно, как меняется моя аллея. Между возмужавших деревьев уложили гранитную мостовую, землю у подножия стволов нарядили кружевными воротниками кованных полукружий, и в каждой тени поставили по тяжёлой скамье. Не помню, хватало ли аллее того внимания, что теперь выпадало от меня на её

долю, но при встрече она заметно приободрялась, и, в зависимости от времени года, одаривала то роскошью аромата цветов, то нестыдными своими древесными тайнами, или предлагала поиграть в килу<sup>22</sup>, подкатывая к ногам шар шоколадного цвета.

Не скажу, чтобы жизнь так уж сильно поизмывалась надо мной, однако, порешив однажды вернуться в город детства насовсем, я почувствовал, что не совершаю ошибки. И ведь не то, чтобы прочий мир отступился от меня, – просто-напросто, оказалось, что, чем меньше ты сам, тем краше и больше нужно тебе место. Я вырос, и, наконец, понял это.

Прогуливаясь по улицам родного города, я ощущаю, как удобно сидят на моих плечах рукава его тесных улочек; располагаясь в совершенно нужных местах, выточки перекрёстков скрывают предательскую преждевременную сутулость; впору неширокие, крепкие ладони площадей дают мне мою волю<sup>23</sup>, а аллея, моя милая каштановая аллея, стоило ступить под её сень, укачивает и пестует ребёнка во мне так, как может лелеять и баюкать одна только Родина.

Малая Родина. Она никогда не бывает нам мала, но мы не

---

<sup>22</sup> русская игра с мячом, цель в которой занести мяч в руках в зону, называемую «город», в 1793 году Кристиан Гейслер запечатлел игру на своей гравюре «Das Ballspiel»

<sup>23</sup> Сбейте оковы, дайте мне волю " По пыльной дороге телега несётся" Русская Народная песня...



всегда умеем дорасти до понимания её величия...

# БЫТЬ ПОНЯТЫМ

Мы непостижимо противоречивы и непостоянны, стремимся быть загадочными, таинственными, непонятными для других, и, в тот же самый час, как мало чего кроме, жаждем понимания от оных, а сами... стараемся нимало.

Срезая сухую веточку туи, я услышал некий писк, похожий на чихание, и дерево, притворившись простуженным, обрызгало меня нечаянным, пряным ароматом своего дыхания. Порешив отложить стрижку, я пошёл прочь, стараясь и сам не расчихаться на ходу. Однако, мне показалось странным, что туя поспешила избавиться от меня подобным манером. Мы были достаточно знакомы с нею, и она давно уже могла убедиться в том, что я никогда не совершаю ничего ей во вред.

Сощурившись хитро, я раздумал уходить и, подойдя к дереву вплотную, прислушался. Кроме стука собственного сердца, я разобрал чьё-то частое, с трудом сдерживаемое дыхание. Не трогая руками зелени или ствола, я заметил примятую тропинку посреди грузно склонившейся ветви. Не в пример прочим, ярким и пушистым, она была чуть ли не вытоптана! Приглядевшись ещё внимательнее, я встретился взглядом с обнимавшей гнездо птицей. Зеленушка, а это была она, стойко переносила моё вольное вторжение, но серд-

це сотрясало её ладное тело с такой силой, что я поспешил отступить, чтобы не мучить бедняжку дольше.

По всему было заметно, – она видела меня не единожды, и, выбирая место для птенцов, понимала, – рано или поздно наша встреча лицом к лицу произойдёт, но, при всём при том, как это бывает у любого, надеялась на то, что этого не случится. Ведь, кто знает, чего ожидать от нас, людей. Бывает, глянешь со стороны, – мы, вроде, и ничего, а познакомишься ближе...

С того самого дня, проходя мимо дерева, я разговаривал не только с ним, но ещё и с птицей. Она скоро привыкла к моему голосу, вытягивала навстречу шею, чтобы уяснить нечто в выражении моего лица, и, если я был возмущён чем-либо, то она тихонько... укоризненно цокала языком, сокрушаясь вместе со мной.

Ибо каждому хочется, чтобы его... Разве не так?!

# Жилец из первой квартиры

Прилетев в родные края, ласточки были несказанно рады тому, что уютный подъезд маленького одноэтажного дома по-прежнему незаперт. Заглянув вовнутрь, и убедившись, что место свободно, они присели рядышком в уголочке и тихо радовались своей удачливости. Прошлой весной ласточки устраивали своё гнездо тут же, – прямо под потолком, рядом с незрелой по сию пору, прозрачной ягодой давно потухшей лампы. Мухи и прочие насекомые, которые, неосмотрительно сбиваясь с пути, залетали в подъезд, и, ударяясь, звенели ею, возвещая о своём прибытии к завтраку, обеду или ужину, были всегда ко двору. А посему, – самой главной заботой ласточек было раздобыть побольше строительного материала, ибо от старого гнезда остался лишь отпечаток на стене.

Целую неделю птицы собирали веточки и кусочки глины. Чтобы им не мешался сквозняк, что, заглядывая в подъезд, постоянно хлопал дверью, жилец из первой квартиры зажал её промеж двух больших камней, поэтому теперь, даже если ветру и вздумывалось проведать ласточек, он уже был не в состоянии запереть их внутри или оставить, по рассеянности, снаружи. Конечно, он делал всё это не со зла, но ночевать в душной темноте или мёрзнуть за пределами гнезда,

прижавшись друг к другу, – то ещё наказание для певчих<sup>24</sup>.

От утренней до вечерней зари ласточки трудились над лукошком колыбели для своих будущих малышек. И вот, когда гнездо было совсем уже готово, – осталось только дать ему время просохнуть немного, чтобы глина крепко-накрепко прихватила веточки, да выложить изнутри чем-нибудь мягким, – случилось то, чего не мог ожидать никто. Птицы сами, собственными крыльями, разломали гнездо. Как видно, вспомнили они случившееся прошлой весной. Едва желтогубые, улыбающиеся навстречу каждому их появлению детишки только-только открыли глаза, жилец из первой квартиры посадил своего кота, «посмотреть, кто там с утра до ночи галдит и гадит перед дверью». Благодаря соседству ласточек, мухи и осы уже не докучали ему, и терпеть гвалт птенцов дольше ему теперь было не с руки.

Прежний год ласточки осмелились пережить лишь от того, что, кроме них, некому было позаботиться об их единственном уцелевшем ребёнке. Нынче же они оказались не готовы к ещё одной, вполне вероятной, потере. Конечно, ласточки могли обустроить гнездо на каком-либо другом, новом месте, но успеют ли малыши порядком окрепнуть до отлёта в тёплые края. По всему выходило, что не успеют никак.

---

<sup>24</sup> пение ласточек характерно попеременным чередованием щебетания и трелей

Обнявшись, на ветке перед подъездом сидели ласточки. Муж и жена. Она подставляла ветру промокшие от слёз щеки, дабы обсушить их, а он, пригорюнившись, неловко гладил её по спине и вздыхал. Не вывести им ребятишек в белый свет, не порадоваться с ними вместе новому лету.

– Подожди меня здесь, – Попросил он её вдруг. – Я тут видел... кое-что... – И улетел.

– Милый!..– Встревожилась ласточка ему во след. – Береги себя!

Спустя некоторое время, жильцу из первой квартиры ни с того не с сего стали докучать осы. Ни двери открыть, ни окошка, ни даже посидеть на скамье у подъезда. Сколь ни пытался отыскать он их улей, так и не смог найти. Жильцу из первой квартиры было невдомёк, что ласточки, отдавая должное его коварству, в качестве прощального дара, перенесли картонные соты ос в своё разрушенное гнёздышко. Не оставаться же ему вовсе пустым...

Говорите, у птиц короткая память? Ну, что ж, не короче ваших крыльев, в том случае, коли они у вас есть.

## Они были...

Они были славной парой. Два старичка, она и он. Она обо- жала его безмерно, он был влюблён навечно, и одно лишь чувство держало его «по эту сторону клумбы», как говарива- ли некогда праотцы. Считая её наилепшим<sup>25</sup>, что случилось в судьбе, благодарный Вселенной за дарованную встречу, он не мог предать любимую, оставив вовсе без никого, и пото- му, пересиливая всё возрастающую дряхлость, позволил уха- живать за собой, дабы не потерялся совсем смысл этой жиз- ни.

Заботы об нём занимали всё её существо. Занятая ими, она не имела времени заметить, насколько худо бывало ей, и, отсрочивая собственное увядание, подменяла благополу- чие размеренностью. Чего стоили, к примеру, пробуждения в означенное раз и навсегда время, когда, для того чтобы по- мочь подняться с постели, ей приходилось подолгу разми- нать его измождённое тело, иначе утомлённое сердце отка- зывалось гонять кровь с былой силой.

– Эх, коли бы был свой домик в деревне, насколько лучше жилось бы нам. – Сокрушалась она, выглядывая по утрам в

---

<sup>25</sup> наилучшее

ОКОШКО.

Квартира с высоким потолком и просторной кухней в тихом центре на четвёртом, предпоследнем этаже дома, некогда казалась лучшим местом на земле. Так оно бывает в пору безмятежности вовремя осознанных в себе сил, но теперь, направляясь за покупками, приходилось заодно набираться терпения и запасаться изрядной долей упрямства, чтобы не только добрести с ношей до подъезда, но поднять её ко входной двери квартиры.

Кроме всего прочего, им обоим был необходим свежий воздух. Не подыши они хотя день, городским, запертым в тесноте улиц, ветром, слабость и окончательная потеря желания «досмотреть всё до самого конца» не заставили бы себя ждать. Посему, граждане и гражданки, прогуливающиеся после обеда мимо скамьи под сутулым каштаном, сыто и равнодушно умилялись картинкам из домашней жизни трогательной донельзя пары, что проходила у всех на виду.

Обёрнутый в плед он, сидел, глядя прямо перед собой. Она с озабоченным видом и немного жалкой, извиняющейся за неловкость своего положения улыбкой, то укутывала плотнее, то утирала платочком влажные его усы. В известный час, выудив из вязанного просторного ридикюля одетую в тёплый шарф банку с протёртой курочкой, она кормила его с серебряной кофейной ложечки, а он, растерявший на



пороге старости остатки никому ненужной скромности, привычно приоткрывал беззубый рот, и глотал, не жуя. Когда она спрашивала вкусно ли ему, он молча растягивал губы в некоем подобии улыбки и вздыхал, ибо понимал, каково ей приходится, и кабы знал, что она не будет страдать, избавил бы от себя без раздумий, не проснувшись в любой из дней поутру.

... Ночами, прислушиваясь к его дыханию, она нежно гладила слегка поредевшие на затылке волосы, пока не засыпала, наконец, уткнувшись носом ему в грудь. А он... он лежал после без сна, счастливый и несчастный, не смея переменить положения, дабы не спугнуть её бесконечно повторяющееся сновидение про то, как, слепым ещё котёнком он попал в этот дом...

NotaBene

Коту было 28, ей – 82...

# Весенняя ночь

Птицы ворочались на чердаке, скрипя пружинами матраца усохших на сквозняке досок. Настенный светильник месяца сполз набок. Совсем немного. Видимо, ослаб один из серебряных гвоздиков, на котором он висел. Сквозь матовое, чистое его стекло было видно извечную гримасу луны, и она так давно вошла в привычку, что совершенно не портит её облика. Весенняя ночь чудна, как любая из ночей, полная переливающихся через край ручьёв птичьих голосов. Многоголосие певчих сливается в один безымянный хор, и только редкий возглас кукушки выдаёт её с головой. Филин временами посмеивается над нею, но, так как в равной мере всегда может быть узнан, несколько в том стеснён.

Лес шипел, шуршал и капал чем-то в темноте, но делал всё это как бы исподволь. Очевидно памятуя об сырых дровах<sup>26</sup>, заходил сбоку или вовсе со спины. Стоило обернуться, дабы присмотреться в сторону, откуда звуки, как затихало всё, и, кроме пятен сухой листвы, да огрызанных ветхостью пней, не было видно ничего.

Впрочем, по случаю на глаза попался-таки очаровательный в своей неуклюжести желтопузик. Лощёный, цвета пер-

---

<sup>26</sup> исподволь и сырые дрова загораются (поговорка)

ламутовых оливок, коими потчуют в монастырских трапезных великим постом, он вызывал сочувствие своею краткостью<sup>27</sup>, нелепыми попытками избежать мнимой погони, и надеждой во что бы то ни стало остаться незамеченным и неузнанным, – инкогнито<sup>28</sup>! Казалось, будто некто изурочил<sup>29</sup> его. Вздох облегчения раздался со всех сторон, как скоро желтопузик был сопровождён в уют кустарника. Туда же отправилась и некстати задержавшаяся на тропинке улитка.

Сумерки, делаясь всё гуще, большими клейкими кусками застывали посередь полян, и только над дорогой ночь была едва ли не бледна. Взбитая перина пыли не желала нипочём оседать, сухие кусты гляделись издали дымом... И так бы оно всё и было, коли бы соловей, распевая привычное уху: «Фи-га-ро!» не закашлялся на полутрели. Тут уж, как закапало с ясного почти что неба, и уже не прекращало до самого утра.

А там уж, – дороги, щеголяя грязью в облипку, бахвалились друг перед другом зелёной пеной на губах луж, да у кого больше следов от стрел, выдавая за то тёмные ряды муравьиных нор.

Бриллиантовая россыпь кАпель дождя в траве, делала её

---

<sup>27</sup> желтопузик – ящерица, в минуту опасности отбрасывает хвост

<sup>28</sup> (лат.) incognitus – неузнанный, неизвестный

<sup>29</sup> сглазить

похожей на драгоценный царский убор, но в отличие от него обладала лёгкостью и обаянием, чарами, веданными одною Природой.

Окончилась ночь, и как любое, что сказано, она уже прожила жизнь свою, но написанное будет живо, покуда не истлеет последняя дума, умеющая распознать, что есть свет, что есть тьма...

# Навсегда

Оса бьётся о стекло впалой грудью в накрахмаленной рубашке, рвётся в закрытое окно. Ей ни за что не пробраться, но даже понимая про то, ты машешь рукой, гонишь её прочь, а она висит в воздухе, свесив руки ниже колен, вглядывается в твоё лицо тяжёлым взглядом. И отводишь свой, будто стыдишься чего. Недаром же оса рождается осою, а человек человеком, ох, недаром...

Облокотившись подбородком о лист кувшинки, ужи нежатся в густой тёплой воде пруда. Мал-мала меньше: большой, пожиже и совсем ещё кроха. Дуют янтарные щёки от важности молчком, не пускают язычок погулять.

Здесь же, на берегу, понемногу собираются птицы. Лазоревки, синицы, щеглы, зеленушки и трясогузки, иногда прилетают дятлы. Ворон вытряхивает прозрачные половики неподалёку, да смотрит издали, прикрываясь облаком, как бы отыскивая нечто, смущён самим собой.

А птицы заходят в купальню по очереди, подбадривая и задирая друг друга.

Когда доходит очередь до дубоноса, тот, забирая вещи из стирки, надевает их на себя, не дожидаясь, пока просохнут. Всё мокрое холодно сперва и неприятно липнет к телу, но растянув промеж лопаток кожу на спине, растолкав воздух

подле, познаёт птица, что, взмывающие к небесам капли воды, забирают с собой излишки её горячности. Дубонос едва ли не впадает в дремоту от удовольствия, но заметив подле себя очередь, решается направиться туда, откуда прибыл. По всё время полёта он хорошенько запоминает дорогу, чтобы при случае вернуться, но какова она была, и что приметного встретилось ему на пути, задумал не говорить о том никому. Дубонос умеет держать язык за зубами<sup>30</sup>, как никто другой. Рыбы и то разговорчивее, нежели, чем он.

Покуда дубонос удалялся от пруда всё дальше и дальше, там уже, тоже все в мокром, сидели синицы, поползни, малиновки. Ястреб поглядывал на них, любуясь своею тенью, и коротко вздыхал. Вот бы и ему, там же, рядышком... Так нет же, испугаются, разлетятся кто куда, а одному – оно всё как-то не так.

Накупавшись всласть, намаявшийся за день щегол подсчитал, что перетаскал птенцам букашек больше, чем весит сам. Придя в некоторое замешательство от собственной удалости, он присел на качели ещё бездетной, но упругой уже лозы, да как взялся, ни с того, ни с сего, маячить маятником туда-сюда, в такт биению сердца. Войдя в раж, не заметил он и появления супруги. Та, в мокром на груди банном халате, толкнула его бедром, прогнала в гнездо к детям, а сама,

---

<sup>30</sup> дубоносы издают неприятные специфические звуки только в короткий брачный период, в остальное время молчат

проследив, дабы никто не уличил её в ребячестве, принялась раскачиваться. Делала она это, как, впрочем и всё остальное, с серьёзным выражением, и совершенно не так, как щегол, а правильно: сюда-туда, сюда-туда. Супруга щегла была уверена в том, что её он, как и все мужчины ничего не умеет толком.

Птицы разлетелись, переждать жару в тени. Пруд понемногу возвращал себе воду с берегов, раскладывая на широкой полке дна ил и песок по своим местам. Ему было слышно, как дятел, устроившись на сквозняке, играет сучком, как варганом<sup>31</sup>. Воющий его напев навевал на округу дремоту, и она-таки размякла бы вовсе от неги, коли бы простуженный ветром одуванчик не вздохнул резво, так что взлетела с него лепестком жеманная бабочка лимонница.

В ветре, что обыкновенно волнует крону леса, чудится тяжёлое, трудное дыхание моря. Выдавая дубы за корабельные, вскормленные землёй, сосны, с протяжным хрустом, похожим на стон, ветер ломает их мачты, как мечты, что рушатся часто, всего в один миг.

Не дремлют, струятся без усталости одни лишь фонтаны молодых сосновых побегов, цвета старого золота. Им ли страшится штормов. Ершисты и податливы, упруги и уступчивы, красивы самой юностью своей, прямолинейностью, честно-

---

<sup>31</sup> хомус, варган, якутский инструмент

стью, что с возрастом так часто сходит на нет. Выдавая сие за мудрость, кому делаем одолжение мы? Уж верно, не себе. В честности – полнота справедливости, целостность прав, где подразумеваемое при рождении равенство, наивная вера в его незыблемость часто играет дурную шутку с тем, кто остаётся честен навсегда.



# Обыкновенная жизнь

Наполовину застегнутая пуговка луны на голубой блузке неба держит её ворот слегка распахнутым. То небо, распаляя в себе кокетство, жалует к нам. И доставая из-за пазухи солнце, протягивает его, как сердце или жаркий цветок, что исполняет самые заветные желания. Только вот – слишком много их у нас, а надо, чтобы только одно. Одно на всех.

В золотой бахrome сосновых побегов мне мнится тесьма с рядом свободно свисающих нитей скатерти, которой бабушка некогда застилала свой круглый стол. Я так любил сплести эту витую тесьму в косички, поджидая, пока из кухни, с криками: «Дети, осторожно, горячее!», не появится бабуля с дымящейся супницей на вытянутых руках. Кажется, что тут, среди сосновых когтистых лап, нехстати совсем это видение.

Если постараться как следует потрясти калейдоскоп воспоминаний, то из разноцветных кусочков стекла сложатся привычные в детстве картинки: бабушка стоит в кухне, согнувшись над тазом, полным белья и наструганного хозяйственного мыла; она же, – тяжёлой походкой бредёт с рынка, либо стряпает очередное, по три раза на день, другое кушанье. Первое-второе-третье, и непременно что-нибудь к чаю.

Каждое утро начиналось с аромата запаренного проса<sup>32</sup>. Бабушка тщательно выметала пол влажным веником, отчего в доме витал вкусный тёплый аромат уюта и заботы о ближних. Выходило так, что ей было куда удобнее делать всё самой, чем мириться с нерасторопностью менее умелых помощников или чистить, да переделывать за ними после.

Честно, мы пытались поучаствовать в домашних делах, но всё выходило как-то не так. Бабушка не ругала на нас, понимая, что мы досаждали своей неуклюжей помощью не со зла, но ей-то от того было не легче. Шрам застывшего клея на указательном пальце любимой фарфоровой статуэтки бабушки – моя работа, то, что старинное блюдо теперь больше похоже на черепаший панцирь, чем на предмет посуды – заслуга брата, а заводной ключ от старинных часов мы не можем отыскать по сию пору. И теперь по вечерам, гримасничая и раскачивая головой, словно утка, бабуля крутит штырёк шестерёнки, обернув его льняной тряпочкой. Мы с братом смеёмся, наблюдая в это время за нею, а она сердится понарошку и шумит:

– Ищите ключ, пострелята! Вспоминайте, куда задевали?!

Ежели мои думы о прошлом верны, бабушка была невысокой, мягкой со всех сторон, но что за характер таился под этой плавностью линий. Она не делилась пережитым с по-

---

<sup>32</sup> веники делают из сорго – злакового растения с метельчатым соцветием, близким к просу

сторонними, не перекладывала его и на плечи близких. Мало кто мог бы позавидовать её терпению и уступчивости, ибо то было скорее похоже на подвиг, чем на обыкновенную жизнь.

Любое дело выбирало поладить с нею. Даже шифоньер, размером с небольшой германский город, с широким озером зеркала и скрипучими воротами дверей, украшенными готическими вензелями, она легко передвигала по дому в одиночку. Бабушка подкладывала под горшки его отёкших пузатых ног мокрые тряпки, и шкаф ходил за нею по дому, как щенок. Это было похоже на чудо.

Переманив шифоньер в нужное место, бабушка ухватила шпаклевала пол и раскрашивала его в цвет обветренного яичного желтка. По сию пору помню нашу с братом беготню по мосткам над свежеокрашенным полом. И почему нынче от красок разит ужасом? В прежнее время они восхитительно пахли радостью, и покрытые ими половицы блестели, словно медали, а если вдруг где и случилось им наморщиться, то виноватых в том могло быть только трое: я, брат и чересчур любопытная кошка. Ну, нельзя же ступать мимо, пока краска совершенно не пристанет, даже если кажется, что «уже всё»!

Вижу, как теперь: мы с братом сидим на доске, глядимся в зеркальную реку свежевыкрашенного пола, и секретничаем.  
– Чего тебе хочется больше всего на свете? – Спрашивает

братишка.

Я долго молчу. Слишком долго. Так, что начинает щипать в носу, отчего никак не удаётся справиться с расползающимися от нахлынувших слёз губами. Жалобным, писклявым голосом я шепчу ему на ухо:

– Ба-буш-ка...

Брат понимает, не переспросив, и мелко-мелко трясёт головой. Он тоже плачет, горько и безутешно, не так, когда расшибёт коленку об асфальт.

Чего мы хотим, все? Чего-то самого обыкновенного, – чтобы наше хорошее было всамделишным, по-настоящему, навечно.

# Соловей и вода

Не даётя вода соловью так, как песнь. Он и так, и эдак подле неё, а она к нему холодна. Крадучись, с низкого калинова куста, соловейка пробирается по неудобии камней берега, кланяется и опасливо трогает воду за прозрачный подол:  
– Здравствуйте, матушка!

Хмурится вода, толкает птицу сырой ладонью. Эх, соловейка... Бедный! Легче он перьев, вырванных из хвоста совы, тяжелее, чем взгляд крота. Напетых матерью песен, достаёт ему на всю жизнь<sup>33</sup>, а подслушанных али переятых<sup>34</sup> даром не надь.

То ли грустный с головы до сердца, то ли мокрый с затылка до коготка, сел соловчик на бережок, и ну как свистать да щёлкать. Пошли в ход лешева дудка да кукушкин перелёт, стукотня да раскаты, а как выпал черёд бульканья, прислушалась вода, задумалась, и совестно ей стало, опечалилась думою. Услышала она в песне соловья понятный ей говорок, подвинулась от камешка, поклонилась соловушке, – пей, говорит, полощи серебряное горлышко изумрудным ручьём, балуй себя, тешь, твоя взяла.

---

<sup>33</sup> мать учит птенцов петь с первых дней, всем коленцам

<sup>34</sup> перенимать

Поклонился соловей в другой раз воде, утёр носок, сделал глоток, и вновь за пение, – в благодарность за почтение.

Неразлучны с тех пор вода с соловушкой, – на каждом берегу по колено в топи куст калины, в ямке под ним гнездо, а там и до воды рукой подать. Поёт птица у водицы, а та стоит подле, задумавшись, – так ли живёт, так ли чиста, как оно надобно...

... Не давалась вода соловью ровно, как песнь. Ну, так и та-тко, бывает, выходит не с одного разу, и не с двух...

# По-братски

Мы с братом сидим на подоконнике и болтаем босыми ногами изо всех сил, расшатывая его. Иногда, в запале, задеваем пятками стену, и это довольно-таки больно, но, чтобы не расплакаться, мы принимаемся хохотать взапуски. Я над братом, братишка надо мной.

Малиновка, – красное с одного боку яичко с острым носиком, расслышав нас, заглядывает в открытое окошко, машет крыльями быстро-быстро, словно манит, и смеётся: «Чего вы там сидите? Выходите во двор, тут хорошо!»

На улице и впрямь здорово. Небо, залитое разноцветными слоями облаков, похоже на радугу, которую мы рисуем, где придётся, когда есть чем. Теперь, впрочем, ни красок, ни цветных карандашей не достать, и мы замазываем полосочки радуги одним простым, серым до седины карандашом, из-за чего получается, что небо над лесом на наших картинах сохнет тельняшкой, и украшено дырами облаков да колючими чайнками птиц в углу листа. По весне они у нас слева, а по осени – в правом верхнем углу. Дед говорит, что мы рисуем неверно, и птицы улетают в ту же сторону, откуда прилетают, но нам с братом кажется, что им было бы так неинтересно, путешествовать всё время по одной и той же дороге.

Отпросившись у деда, мы идём на пруд. С негодованием отказавшись от его предложения взять удочки, идём налегке. Единственно, проходя через кухню, братишке удаётся стащить ломоть хлеба. Мы, конечно, знаем, что это нехорошо, но то ж не для себя, а для рыб. Кто им там, в пруду, испечёт хлебушка?

На берегу пусто. Кроме трясогузки, что ходит по отмели туда-сюда с видом учёной птицы, – никого.

– Ей бы за ухо наш простой карандаш, сошла бы за учителя начальных классов Петра Васильевича. – Шепчу я на ухо брату.

Тот хихикает, но ему жалко карандаша. У нас самих осталось мало, – два огрызка по половинке. Дед разрубил карандашик топором, по-братски чтобы. Мы ругались перед тем, что чьё, вот он у нас все и отобрал, а последний-то поделил, поровну.

Устраиваясь поближе к воде, мы с братишкой раскидали на стороны горячий песок и сели рядышком поскорее, покуда вновь не нагрелся. Нам было видно, как зарянка расположилась купаться на листе кувшинки, и как лягушки глазеют на неё с воды, расставив в стороны смешные упругие ножки.

Я проверяю, чтобы братишка не сидел на холодном, ему нельзя. Он недавно лежал в лазарете, там же и набрался от усатого, пропахшего табаком фельдшера многих интересных



слов, которые теперь, к месту или не к месту, любит повторять. Вот и сейчас, заприметив неподалёку щегла, братишка, глядя прямо перед собой немигающими глазами, заговорил:

– Опасаясь за его здоровье, щеглу не разрешают пить холодное открытым горлом. От того-то щегол сперва трогает воду левым крылом, а уж после пьёт. Мелкими, как прыжки соловья, глотками.

– Отчего ж левым-то крылом? – Не удержавшись, спрашиваю его я, ибо про прыжки соловья мы слышали прежде от деда.

– Видать, левша... – Резонно отвечает братишка и мы опять молчим, наблюдая за тем, как купается щегол. Он делает это не с берега, но переступив на лист кувшинки, с её зелёных мостков. Тщательно трёт себе затылок и спинку, как, наверное, учила его мама. Сушится после на ветерке, как и все, кто не человек.

Размочив хлеб в воде у берега рыбам на ужин, мы уходим. По дороге встречаем пыльное стадо. Притомившийся за день пастух лениво крутит хлыстом, сбоку бежит его собака, свесив красный язык чуть ли не до земли, но коровам не до кого, они спешат по домам, где им дадут вдоволь попить из ведра и омоют исцарапанное репьями, изгрызенное комарами вымя.

Стадо скоро прячется за облаком пыли. Мы улыбаемся

ему вослед, машем рукой и идём дальше. Голубая полоска радуги мало-помалу растеклась по небу, а стволы сосен поделили закатное солнце на равные части промеж собой. Каждой – по румянному куску. Чтобы не было обидно никому, по-братски.

# Во что обуто детство

– Я их не сниму! Ни за какие коврижки! Ни за любовь, ни за деньги на мороженое!

– Откуда ж ты такого нахватался-то, а?

– Не скажу!

– Ну и не надо, я и так знаю, что ты опять у соседа в сарае околачивался. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты туда не шастал?

– Всё равно буду! – Дую губы я и, поражаясь собственному нахальству, добавляю, – Всегда буду ходить!

Мать, словно осматривая выщипанные рейсфедером брови, воздевает глаза к небу, и вздыхает, покачав головой:

– Ты весь в отцовскую породу. Как же я ненавижу это ваше фамильное упрямство...

После её слов становится ясно, что дерзость моя останется без обыкновенного возмездия, и ремень задержится ещё ненадолго на своём месте промежду галстуков отца, опутанных бахромой разноцветных поясков матери. Не веря в то, что меня даже не заставят стоять в единственном свободном углу комнаты, с которого временами мне выпадало усердно сколупывать ногтем вкусную жёлтую побелку, я тихонько направился к выходу.

Мать строго поинтересовалась:

– Ну, и куда это мы опять? К соседу?

– Да! – Ответил я, глядя ей прямо в глаза.

– Надо же... – Протянула мать и добавила, – Только ты не надейся, что я позволю ходить тебе по улице неряхой. И завтра же избавлюсь от этих кошмарных сандалий... Сил моих больше нет, смотреть на это безобразие!

– Нет! – Запротестовал было я, но мать оказалось непреклонной, – Учти, – добавила она, – я выкину эти лапти в по-мойное ведро ночью, когда ты ляжешь!

И не иначе, как чтобы подчеркнуть причину моего ничтожества, она остановила взгляд на том, во что я был обут.

– Тогда... тогда я больше никогда не буду спать! – Мой возглас, горячий, как и щёки, застал мать врасплох, посему, воспользовавшись её замешательством, я пообещал, – Или нет, я лучше буду спать прямо в сандалиях!

– Ну-ну... – Угрожающе покачала головой мать и удалилась на кухню, оставив меня наедине с неказистой обувкой.

Немного испуганный, я поглядел себе в ноги. Снову ярко-красные, сандалии давно сбросили личину<sup>35</sup> и имели приятный цвет подтаявшего в руках шоколада. Их кожа и впрямь истёрлась, но никакой обуви до и никогда уж после не удавалось столь же бережно охватить каждый мой паль-

---

<sup>35</sup> показать истинное лицо

чик, не стесняя его. Толстая подошва из нескольких слоёв грубой кожи знавала каждую кочку во дворе, любую ямку по дороге в детсад и тот длинный водоотвод по пути к бабушке, о который я не раз спотыкался. К тому же, верх сандалий был украшен прекрасными дырочками, похожими на цветочки, в которые засыпался тёплый песок и приятно затекала дождевая вода.

...За день я так набегался, что вечером совершенно позабыл о своей угрозе никогда больше не спать, а наутро не нашёл своих сандалий. Рядом с кроватью стояли чисто вымытые матерью их огрызки, – без пяток и застёжки.

– Я подумала, раз уж ты так привязан к ним... – Заходя в комнату, улыбнулась мать, но осеклась.

Босой, я стоял у окошка и плакал вослед детству. Оно уходило от меня, обутое в те самые, протёртые до земли, сандалии. Уходило насовсем.

– Я же не знала... – Мать подошла ко мне сзади, положила руку на плечо, но я сбросил её и ответил довольно сурово:

– А надо было знать. – И упал лицом в подушку, чтобы больше никто и никогда не увидел моих слёз. Взрослым ведь не след плакать, – ни после, ни теперь.

# Порочный круг

Заметив в кроне сосны яркое пятно, я решил, что позабыл прибрать один из золочёных орехов, которыми украсил дерево перед Рождеством. Но присмотревшись внимательнее, понял, что никогда прежде у меня не было игрушки такого кОлера. На сосновой ветке, пользуясь гребнем её игл по назначению, раскачивалась птица. Повернувшись, она дала рассмотреть себя в профиль, и, хохотнув над моей недогадливостью, упорхнула в сторону песчаного обрыва, что располагался совсем неподалёку. Вооружившись благоразумием и осторожностью, я отправился за нею, и вскоре узнал всё, что позволено человеку, обладающему тактом обождать, тем самым заслужив право на откровенность.

Румяная со стороны солнца, в переднике из голубого лоскута, позаимствованного на время жизни у неба и остриём клюва, выданным терновником с отдачей и оговоркой быть как можно осторожнее, да не размахивать им во все стороны, птица выглядела слишком пёстрой, чтобы находится здесь. Более того, – она казалась чужой, залетевшей по недоразумению. Почитая в выводах более размеренность, нежели то-ропливость, я-таки признал в гостье хозяйку – золотистую

щурку<sup>36</sup>, которая, как и все прочие птицы, обождая окончание зимы где-то между Красным морем и Индийским океаном, возвращается, раз и навсегда сочтя родной дом лучшим местом для появления на свет малышей.

Я не без восхищения наблюдал, как через узкий лаз, выдав на-гора полпуда<sup>37</sup> земли, родители и холостые собратья по перу строят коридор в три сажени<sup>38</sup>, с детской в самой его глубине, а рядом – небольшую опочивальню для не занятого заботой о птенцах супруга, чтобы тот мог отдохнуть в тишине и набраться сил.

Трогательные отношения промежду собой и соседями омрачалось тем, что золотистые щурки слёту охотились на обожаемых мной пчёл и шмелей. Избавляясь от жала пчелы, они закрывали на это глаза, предпочитая действовать вслепую, но из опасения пораниться или по причине стыда? Сент Обен<sup>39</sup> наверняка попытался бы убедить в первом, Папе<sup>40</sup>, вероятнее всего, лицемерно оставил бы своё мнение при се-

---

<sup>36</sup> (лат.) *Merops apiaster*

<sup>37</sup> 8 кг

<sup>38</sup> ~ 7 м

<sup>39</sup> секретарь парижского географического общества, членом которого состоял Жюль Верн, прототип Паганеля из книги Ж. Верна «Дети капитана Гранта»

<sup>40</sup> Вильгельм Георг Папе, немец по происхождению (1806, Рига – 1875, Петербург), анималист, чертёжник Его работы – рисунки птиц, увидели свет в Трудах Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.

бе, тогда как мне скоро наскучило наблюдать за столь необходимым природе, но противным самому действием.

Однако не минуло и дня, как золотистые шурки вновь украсили своим присутствием сосну под окном. Оказалось, пчелодам недоставало общества, отчего они принялись навещать меня сперва одни, а после – с подросшими птенцами. Уж не ведаю как, но шурки с пониманием отнеслись к моему, по их мнению, чудачеству, неизменно обходя вниманием пчёл со шмелями, круживших подле цветов в саду. Разумеется, я был более, чем доволен сим обстоятельством, но жалел, что ни после, ни теперь не смогу переубедить птиц вообще отказаться от привычного им стола. Ведь, предложи мне кто пить отвар крапивы, вместо чаю или вообще отказаться от жаркого...

Ибо все мы, подчас, спешим вырвать жала врагов, дабы насытиться или обезопасить себя, а они платят нам тою же монетой, никак не желая прервать этот извечно порочный круг.



# Сестра

Тот хруст я помню по сию пору. В тишине он прозвучал оглушительно и, пытаясь исчезнуть незаметно, долго, упруго метался от стены к стене, отлетая от них, будто мяч. Конечно, такого не было в самом деле, а оказалось плодом воспалённого страданием воображения, ибо боль и последовавшая за нею пустота, что ощущалась в животе, разом перебила дыхание и растёрла мерный ход крови жёсткой щёпотью. Как-то сразу стало страшно. В мановение ока из полного людей спортзала меня словно перекинуло на дно колодца, где царила нереальная, киношная, потусторонняя тёмная тишина. Я попыталась подняться, чтобы освободиться от неё, но поняла, что лучше дать себе время отдышаться.

В этом зале «торговали» не лицом, но телом. Надрываюсь с весом<sup>41</sup>, заставляли мышцы работать больше обыкновенного, отчего, обтянутые кожей, они переступали допустимые обществом рамки приличия, привлекая к себе излишнее внимание и зависть. Упорные парни лепили своё тело перед зеркалом, любуясь и гордясь собой. Со стороны они все, как один, казались сердцедами и глупцами, хотя в самом деле были сентиментальны, щепетильны, лукавы, педантич-

---

<sup>41</sup> штанга, утяжеление в атлетике

ны. Кроме того, их мало интересовал слабый пол, но не из-за сомнений в собственной мужественности, а по причине чрезмерной строгости к себе.

Ни для кого не секрет, что почти все мальчишки – сладкоежки. В распорядке дня, коему была подчинена вся их жизнь, не нашлось бы места для свиданий и конфет, но девицы на выданье, не ведая про то, слетались в зал, как осы.

Продуманно преломляя тонкие талии у всех на виду, они пытались ужалить зрелищем не вполне обнажённого бюста и перетянутых в нужном месте ягодиц. Но... кому какое дело до чужих прелестей, ежели волнуют только свои, и ревность возникает не к томному мимо взгляду, а к лишнему весу, который смог взять товарищ слева, или к очередному подходу соперника справа в тот день, когда ты сам ещё не готов к тому.

Будь девицы догадливее, им нужно было бы перестать расставлять сети кокетства, а заняться делом, но на то у них не хватало тонкости, либо сил.

Моё появление в зале было вынужденным. Товарищ, который работал там инструктором, попросил помочь, подменив его на время отъезда. Утром требовалось отпереть двери зала, вечером – закрыть их, вот, собственно, и вся услуга. Но не могла же я просто так сидеть и смотреть! И взгромоздившись на скамью, что оказалась ближе, без особых усилий принялась выжимать ногами увесистую штангу. Едва мину-

ло время, необходимое для того, чтобы бросить начатое с тем, дабы порисоваться, я получила куда больше знаков внимания, нежели все длинноногие девицы вместе взятые, которые появлялись в этом месте когда-либо. Десятки глаз с разных концов зала заинтересованно смотрели в мою сторону, и после того дня я перестала быть просто «девушкой с ключами от зала». Теперь, в перерывах между подходами, мы с ребятами болтали беззаботно, обменивались шутками, новостями... и продолжалось всё это вплоть до того самого противного хруста, звук которого, усиленный аркой рёбер прозвучал, как набат.

Ребята побросали свои веса и кинулись помогать. Глядя на побелевшую физиономию, они все вместе осторожно сгребли в охапку мою сгорбившуюся от боли тушку и поволокли в больницу.

Молодой врач в приёмном покое, явно напуганный присутствием такого количества мощных молодых людей в кабинете, чуть спасовал под напором их неподдельного волнения, но своего не выдал, и лишь затем, чтобы разрядить обстановку, поинтересовался, не обращаясь лично ни к кому:

– Кто она вам?

– Сестра! – Хором ответили парни, и, помянув добрым словом Пушкина<sup>42</sup>, врач начал осмотр.

---

<sup>42</sup> «В чешуе, как жар горя тридцать три богатыря...» А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем...»

Разрыв косой мышцы живота. Неприятная, конечно, штука, но через некоторое время я смогла сделать вдох, почти не сдерживая его глубины, а вот с весом пришлось попрощаться. На время, как думалось мне, но, – «ничего нет более постоянного, чем временное»<sup>43</sup>...

Хруст. Рубец на мышце временами даёт о себе знать. Ну и ничего, оно стоило того, чтобы пережить, единственно ради тёплого слова «сестра».

---

<sup>43</sup> поэт Алексей Константинович Толстой (1817-1875), соавтор литературной маски «Козьма Прутков»

## По-человечески

По мере того, как подрастали птенцы, ветки туи опускались всё ниже, словно бы открывая перед ними дверь в большой мир, обнажая заодно их ранимость и временное несовершенство. Простительная, преходящая, как каждое прочее, незавершённая птенцов, неловкость, неумение взлететь в случае возможных неприятностей, сколь бы ни было их впереди... Кому знать про то? Родителям, чудом пролетевшим мимо рта мошкам, ну и тому, которому всегда есть до всего дело.

Уж тянулся от пруда к дереву гибкой, покрытой серебристой пылью кишкой, через которую обыкновенно пропускают воду, чтобы напоить цветы и грядки. Неотвратимый, как погибель, с равнодушным, строго остановившимся взором, змей струился в сторону дерева, на котором ожидали своей участи птенцы. Не умея кричать по-человечьи, несчастная мать напевала на всю округу красивую мелодию, только горше, прерывнее, призывая в помощь охрипшим уже голоском, хотя кого-нибудь. Но, кто их разберёт, птиц, что надобно им там, промеж частой гущи веток. Не дозвавшись никого, птица распласталась поверх гнезда, обхватив его крылами, надеясь спрятать малышей, которые, вообразив будто бы мать забавляет их какую-то новой интересной игрой, выглядывали попеременно из-под перьев, обнаруживая яркие золотые

скобки челюстей.

Тщетною казалась суется несчастной, – ужу были неинтересны: ни цвет, ни форма, ни характер добычи. Впереди маячили тёплые тела подходящего размера. Больше знать ему было недосуг. Дабы сберечь собственное эго, или ещё почему, – нам про то, сколь не примеривай своё понимание к иному, не узнать никогда.

Сердечною мукой расплатившись за собственное любопытство, мне не удалось отсидеться в стороне и на этот раз. Можно сколь угодно долго говорить о том, что человек не вправе мешаться в ход судеб природы, но когда ты воочию, на расстоянии вытянутой руки, если в состоянии помочь... у кого не дрогнет душа?

Испуг малой птицы всё ещё сотрясал дерево, когда я лицемерно кричал вдогонку рассерженному ужу:

– Уходи! Беги-ка ты прочь! Делай, что хочешь, но только, прошу, не у меня на глазах...

«Не у меня на глазах», – вот оно наше, чисто по-человечески. Спокойнее так. Отстраняясь, открещиваясь от чужих бед, мы не уменьшаем их, но лишь скрадываем у собственной совести. И как-то это всё... Нехорошо?

# Поверка

Карабкаясь по калинову листу, как по мОсту, коричневый в белую веснушку, мраморный бронзовик<sup>44</sup> отчаянно спотыкался.

– Ой! Да какой же ты красивый! – Восхитился я и предложил, – Тебе помочь взобраться?!

Жук подозрительно бойко подтянул к себе соскальзывающую перед тем ножку и, блеснув марказитовым глазом в мою сторону, поинтересовался:

– Ты это серьёзно?

– О чём?

– То, что ты сказал перед тем, – в самом деле? И намеревался помочь?

– Ну... да, конечно!.. – Радостно отвечивал я

И взлетел жук, не чая ничего боле, а, обернувшись дважды вокруг моей головы, замер ненадолго, чтобы убедиться, честен ли взор, да взмыл к небу, дабы раструбить про то свету, всему.

---

<sup>44</sup> бронзовка мраморная – *Protaetia (Liocola) Marmorata*, встречается нередко, но всегда единично

# Мог

Уж, явившийся в сновидении – признак того, что козни недругов пустяжны и отныне вас не уязвят.

## Сонник

Я любовался тем, как пил, задрав к небу аккуратный хвостик, дубонос. Не отрываясь ни на вздох, томительно долго, с наслаждением, видимым самим отражением воды и облаками, оттирающими в ней и без того белоснежные бока. Глядя на дубоноса, можно было подумать, будто бы он решил покончить с ощущением жажды разом. И с тем, которое испытал в прошлом, и любим, что настигнет в будущем, о котором он не задумывался, ибо не подозревал об его существовании.

Ну, что оно, в самом деле, такое, это завтра? Как уловить его, несбывшееся ещё, если призрачно и то, что уже произошло, а нынешнее, едва указав на себя, тут же предательски отступает в небытие, словно торопится не сказаться. Быть может, обосновавшись в некоем безвременье, мы потому и не успеваем насладиться тем, что теперь, мечтая взамен про то, о чём позабудем или сожалеем о том, чего уж не вернуть. Но, положив руку на сердце, что ещё бьётся, и положась на светлый покуда разум, – ответьте себе честно, умеем ли мы хотя что вернуть, даже если захотим.



Вот именно в таком настроении я отыскал самый большой валун, отделявший берег от моря, дабы присесть и, не рассуждая ни о чём, бездумно щуриться на закат. Солнце steadily и настойчиво выжигало скопившуюся за день у сердца грусть, так что, спустя некоторое время, готовый к новым впечатлениям, я начал поглядывать по сторонам, несмотря на белое пятно, что приладило к моему взору светило. Впрочем, оно рассеялось вскоре, и оказалось, что подле, нисколько не тревожась соседством, расположился уж. Он лежал, полбединому склонив голову и следил за тем, как размокает понемногу солнечный диск у горизонта.

Будь я хотя немного умнее, того, что случилось мгновение спустя, никогда бы не произошло. Я нагнулся, и неожиданно для нас обоих, ухватил ужа за хвост. Судя во всему, змей обладал недюжинными знаниями в морском деле, так как, удивлённо оглядываясь, он приподнялся наполовину своей длины и, свернувшись в стопорный морской узел, покачал головой. Всё так же не упуская моих глаз из виду, он переменял положение, свернувшись восьмёркой, беседочный узел сменил на брамшкотовый... и неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы я, посовестившись, не отпустил его, наконец, осторожно в воду.

Уж проплыл недалеко под поверхностью воды, и вернулся к моим ногам.

Солнце беззвучно выжигало призрачный край земли, а я

сторал со стыда у него на виду. Уж доверился мне с первого мгновения, расценив сердечную тоску признаком хорошего в человеке, и по всё время, что находился рядом, был деликатен и молчалив<sup>45</sup>, а я...

Наклонившись к ужу, я провёл пальцем по его голове. Раз, другой, третий... Было очевидно, что, коли б он мог, то прикрыл бы глаза, как котёнок, но, вместо того, змей начал таять у меня под рукой, пока вовсе не исчез.

И я проснулся. С чувством радости и досады, от того, что не обидел никого напрасно, но всё-таки, – мог... мог... мог...

Уж, явившийся в сновидении – признак того, что козни недругов пустяшны и отныне вас не уязвят.

---

<sup>45</sup> высовывая язык, ужи нюхают, если не делают того, это означает, что объект им знаком

# Будущее

Виноградная лоза, ухватив солнечный луч щёпотью, раскрасила серую, неназванную никем птичку, и та упорхнула малиновкой. Окончательно разбуженное ею солнце, задираясь беззлобно, обмакнув кисточку в красное коснулась дятла, и от щедрот набросило на шейку ласточки нежный фиолет колье. Расчихавшись после дождя, небо не успело прикрыть рот кружевным платочком тучки, и обрызгало лазоревку, по паре капель попало дубоносу, сойке, и немало ещё кому! Чёрного от томного тёмного облачка досталось ласточке и трясогузке, крошки шелухи коричной коры сосны – воробью, соловью, ну и щеглу немножко... Столь красок повсюду! Говорят, что только три, а три глаза хотя мало, хотя долго, – не сочтёшь их все. Из цветов, как из нот, соткана мелодия мира, и пусть нотоносец окажется холоден или горяч, каждый раз она сбудется иной, – ещё более пряной, чудесной более, чем была.

Не умея пропеть задуманное, некрасиво ругаясь<sup>46</sup> в сторону мужа, дубоносиха корила его за праздность<sup>47</sup>, упрекала в лени, но всё не по делу, чаще из-за привычки вздорного

---

<sup>46</sup> у дубоносов не очень мелодичный голос

<sup>47</sup> отсутствие цели в жизни

характера, чем за проступок. И ведь не скажи ничего ей в ответ, – жизнь соединила их навечно. От самого сватовства до осенних пиров подле чаш черешков тополей, полных сладкого сока тли, – всё вместе: и размеренный покой на берегу жизни, и сутолока понавдоль.

А уж как хороша дубоносиха была в девицах! Как тиха и скромна! Бывало, раскрыв перед подругой перья, как душу, шагал к ней дубонос, не тая чувства, смиренно ожидая решения участи своей. Никто да некто не неволили её, не отговаривали подружки, сама пошла за дубоноса, а как соединили поцелуем брачный союз, тут уж и показала дурной свой характер. А назад-то дороги нет... Однолюб дубонос, вот теперь, хочешь – не хочешь, терпи.

Пролетая над ровной прямой дорогой, подражая ей, ястреб держит спинку, поворачивая над тропинкой, коли вздумывается той поворотить, и он долго, пристально петляет после.

Связано друг с дружкой всё округ: шаг и путь, будущее и то, что ты некогда помыслил об нём, но давным-давно позабыл.

# Из прошлой жизни...

– Взвесьте мне, пожалуйста,  
полкило песку<sup>48</sup>.

Из прошлой жизни

Запахи... Это не просто брызги ветра, вырвавшиеся из тесноты и давки, но клавиши и струны, что, заигрывая с памятью, тревожат, терзают её нещадно. И после уж нельзя дышать в одинаковой мере ровно подле театрального подъезда, у колодца, на аллее, либо глядя в наполненные болью глазницы луны...

Усердие, с которым жизнь лишает нас покоя, можно было бы подвергнуть сомнению, если бы не достоинство, с коим случается то, что будит в нас занятое душой пространство. В такие редкие минуты время отступает назад, оставляя перед собой место для раздумий и слёз, без которых не обходится ничего, стоящего их.

Так не пройти спокойно никогда мимо выпачканных дождём окон, что приподнявшись на цыпочки подвалов, пытаются разглядеть поверх обложенного кирпичом приямка, что делается там, на уровне шарканья многих туфель об ас-

---

<sup>48</sup> сахар

фальт. Покрытый гусиной кожей гранитных крошек, он потеет до драгоценных сколов слюды и красив, покуда не укроют его сшитым из лоскутов листьев одеялом или не засахарится коркой снега и льда.

Тёплый тяжёлый аромат кошек, благоразумно отступающих от незакрытых сеткой деревянных рам, врываясь в надземный мир, скоро вытесняют ставшие привычными взрослые дымы. Но позже, вдруг, в разгар трапезы или беседы, он возвращается запросто, по-свойски, и гонит туда, где ты совсем ещё малыш, сидишь на корточках у незапертую дворником по забывчивости двери, ведущей в подвал и зовёшь кота:

– Кыс-кыс-кыс... Кс-кс! Кис! Ва-ась! Ва-ся! Ну, куда же ты подевался! Ау!

Это только теперь я понимаю, отчего соседки в потных платках, откинувшись на удобной скамье, глядели на меня с жалостью. Они-то видели дворника с застывшим полосатым тельцем в руках. И ведь смолчали, трынды<sup>49</sup>, не обмолвилась ни одна про то, что знала. Заприметив рабочих в противогазах и плотных, не пропускающих воздух комбинезонах, что приезжали опрыскать бомбоубежище под домом, дабы усмирить, образумить хотя отчасти навязчивых насекомых, кот

---

<sup>49</sup> тот, кто говорит все свое, одно и то же

забился в дальний угол. Но шестиногим<sup>50</sup> – хоть бы хны, а кота уж не вернуть.

Как заведённый, я всё выходил из подъезда по утрам, и пытаюсь выманить кота на вкусный кусочек, припрятанный во время завтрака, кричал в застеклённые паутиной оконца.

– Кыс-кыс-кыс...

Звуки вязли в жаркой перине подвала, но я звал мохнатого приятеля до тех пор, пока бабушка, сжалившись, не окликнула меня через форточку протяжно:

– До-мой!

Тем летом, нарочито ласковы были даже соседки. Окутанные вкусным сытным облаком жареных подсолнухов, они подзывали к себе и, оторвав от газеты кривой лоскут, скручивали фунтик, куда каждая насыпала по горсти, мне «в угоду<sup>51</sup>».

Заходя в подъезд, я каждый раз слышал, как старушки шепчутся за спиной:

– Тихоновна, ты проверила день, от какого числа газета?

– Будьте покойны, Ольга Васильевна, вчерашняя, – Уверяла соседку та, ибо свежая газета обыкновенно перечитывалась и перетолковывалась на разные лады до самого ужина.

Женщины были погодки, но та, что младше, не умела называть приятельницу «на ты», несмотря на то что прожили

---

<sup>50</sup> у тараканов, клопов и блох по шесть ног

<sup>51</sup> в соответствии с желанием того, кому предназначается

они бок о бок без малого тридцать лет.

\*\*\*

Фунтик... Круглый клин, ловко обёрнутый вокруг ладони кусок бумаги в форме сахарной головы, примятый на конце, чтобы не просыпалось. Чего только не носили в них, – и муку, и сливочное масло, и творог, и... да любое, за чем пришёл!

Помнится, в детстве магазины представлялись набитыми разностями, словно лавка старьёвщика, вне зависимости от того, чем разило из кладовой, – нафталином или сухофруктами, но луковая шелуха пахнет овощным магазином из детства по сию пору.

Коричнево-белый орнамент его кафельного пола, покрытый землёй, что отколупывалась от овощей, был замаран, но прибран. Влажные швы промеж плитками не успевали просохнуть от постоянного мытья. Трёхлитровые стеклянные баллоны, доверху наполненные красными мячиками помидоров, подпирали стены, бочки квашеной капусты и солёных огурцов взывали о картошке, которая сама высыпалась в подставленную авоську по гулкому жёлобу с ковшом, вделанным в прилавок, и больше походил на игрушечный экскаватор, чем на что-либо ещё. Ущербные пирамиды заморских фиников, бок о бок с привычными разносолами, выглядели чужими, а продавец, так казалось, чересчур груб с картош-



кой, если позволяет той гроыхать, как бывает, барабанит по крышам и подоконникам град. Как бы там ни было, но томатный сок продавец отпускал без лишних проволочек. Забирая с ладошки горячий гривенник, он кивал в сторону ко-нусообразной колбы для соков, точь-в-точь фунтик, но только из стекла:

– Соль там.

Страшась сделать что-то не так, ты краснел и перекрывал краник, наполнив чуть больше половины стакана, но зоркий продавец неизменно кричал из-за прилавка:

– Лей больше, не жалеЙ! – И широко улыбался золотыми зубами, отчего вспоминалась новогодняя ёлка, в особенности та ветка, на которой раскачивалась старая игрушка в виде самовара, и её никогда не разрешалось потрогать, из опасения, что разобью.

В рыбном магазине я всегда отирался подле мелкого кафельного пруда, и всякий раз норовил загородить собой прилавок с рядами переложенных льдом безголовых рыбин, дабы лишний раз не напоминать обитателям водоёма об их незавидной участи. Шайбы солёной рыбы с красиво нарисованной селёдкой на боку выглядели куда более безобидно, но, разложенные повсюду, как коробки с 16-миллиметровой плёнкой в будке кинемеханика, не могли утаиться от рыбьих в никуда взоров. Ещё бОльший ужас овладевал на

пороге мясной лавки. Приторный сальный запах перебивал все прочие, и я отпрашивался «обождать здесь», даже если небо метко плевалось каплями дождя.

Существовали тогда и пункт проката, и комиссионка, оставив о себе схожие ощущения нечистоты и невзгод. Однако там давали на время не только дюжины гранёных стаканов на тризну, но и хрустальные сервизы для свадебных пиров.

В детстве мы все любили играть во взрослые игры: воевать, строить дороги, простукивать лёгкие со спины<sup>52</sup>, учить друг друга письму да счёту, ну и, конечно, «в магазин». Впрочем, нам очень скоро надоедало взвешивать волчьи ягоды и песок, мы-то знали, что в настоящем магазине такого не продадут никогда.

---

<sup>52</sup> перкуссия – для определения расположения и заболеваний лёгких

# Ненастье

Впечатления, снимая с окружающего мира слой за слоем, оттачивают его грани, что ранят вернее, чем отсекают лишнее. Оглядываясь на зеркальную их темноту, так часто не находишь общего с собой, – красивым, сильным, лёгким, безудержным и бесконечным, тем, знакомым от рождения, который живёт внутри.

Твой образ у любого свой, но делишься с каждым лишь тем, что он пестует, отыскивая в себе. Так проще, чем, привыкая к новому, чужому, давать ему место в душе. А как не хватит? Сложно осознать, что всему стоящему того, будет найден приют под её сенью.

Нас принимают по сродству, считают своими, но, спустя немногие мгновения, многие начинают ненавидеть, за то же самое, – сходство с собой. И это вместо, того, чтобы сберечь, усилить сияние многоголосием... Грустно. Рыба и та сбивается в ручей стаи, и устремляясь в её потоке, не так одинока под сенью мрака глубин.

Споро переключая стебель кубышки с оправленным в бутон янтарём цветка, рыбёшка будто торопится куда. Мечется в рамках кабины пруда, соблюдая все правила движения. Да и куда ей из воды-то? Выше береговой линии не прыгнуть, а и сделаешь то, будешь сам не рад.

Клубами зелёного дыма выкипает листва. Ветер студит, мешая самосветному обжечь её, оно ж и греет, дабы не избыла. Всякий в своей работе хозяин, покуда не явится некто со стороны, да не сведёт на нет усердия первых и вторых, пристрастный к покуда неведомому ими.

Ненастье прибито ко дню серебряными гвоздиками облысевших одуванчиков. Так скобы данных свыше наставлений удерживают ветшающие шпалы бытия, и свистят, скрипят вагоны нашей жизни, прокатываясь по ней первый, как в последний раз...

# По-деревенски

Всяк волочится<sup>53</sup> по-своему. Парни за девками под гармонь да шутейно, волк к волчице на гнутых ногах, с лаской и подношением. Ухаживание по-деревенски – это лихо раскрутить барабан колодца так, чтобы дно ведёрка хлётко, без всплеска ударило о воду, или обмахнуть пенёк, прежде чем усадить на него даму, иль ещё, взвалив на обже большую котомку с грибами, взять себе ту, что поменьше, дабы девица не волновалась про то, что сможет посушить их меньше, чем товарка. Но самый смак и скус, это ежели кавалер, не умея сказать ни единого слова нежно, стоя подле двора любезной, повздыхает в ночи, и, согнув грубые от мозолей ладони полугорстью, да, наложив их одна на другую, примется кричать филином на всю округу. Томно так, да сладко. Тут уж делается всё, как в ведро<sup>54</sup>, ясно без единого вздоха – парень пропал, и либо засылать сватов, коли люб, али бежать топиться в омут от неразделённой любви.

Ну, оно и понятно, мы-то люди, скажет иной, а не подумает про то, что вон та степная полёвка была любимой женой и мамой. И лежит теперь на пороге в красно-рыжей, влаж-

---

<sup>53</sup> флирт, ухаживание

<sup>54</sup> ясная погода

ной от кошачьей слюны шубейке, со вмятинами зубов, словно лишённые тесьмы дитячьи тапочечки<sup>55</sup>. То кот, не со зла, но платой за постой и плошку сливок у печи. Осиротил мохнатый хищник отныне и довеку малых деток, да безутешного супруга.

Не токмо люди подолгу бродят по свету в поисках своей половинки, не только двуногие знают цену любви и верности. Та известна и пернатым, и ластиногим, с красной либо другой какой цветной кровью, как прочим иным. Шестилапые, бабочки, трепетны друг с другом не менее, чем мы, двуногие, а иной раз, – куда более нежны.

Птицы, звери и насекомые так же сильны в кокетстве и вероломстве, щедры дарами, в них же корыстны, но уж коли впрягутся в семейную лямку, то верности требуют не меньшей, чем сами отдают. Ну и не делят, кому нынче кормить, кому разбирать детские неприятности, – кто ближе, потребнее, то и занят. А беспарому только и остаётся, что глядеть, греться подле чужого счастья.

Идёт детина по лугу к стылому берегу реки, мечется, мочит портки в прозрачной до дна воде, ожидает своей участи. Ему теперя одно из двух, – на берег ли выйти, в омут ли шагнуть. Кому охота постылым-то быть? Никому.

---

<sup>55</sup> вязаная обувь на самых маленьких

# Страх

Полз ужик по дорожке, плутал по тропинке, мимо немых плафонов одуванчиков, промеж острых камней – по гладким да горячим. Глядело на него небо, радовалось, таким ладным казался ужик, – спинка блестящая, щёчки румяные, глазки мелкими пуговками: зырк-зырк и двойной завиток любопытного язычка по всем сторонам. Тут на небо тучки набежали, им тоже любопытно, кто там внизу из новеньких. Ну, а где облачко, там уж и тенёк. Мал змеёныш, не толще птичьего коготка, глупости в нём никакой, ровно как и ума, ибо только-только вылупился из бледного яичка, но опасность нависшей над ним тени уразумел и замер, забившись в узкую щель между травой и кочкой, – поди, сковырни. Лежит ужонок, страх терпит, не дышит почти, глядь, а кочка-то всё меньше, и выглядывает из неё розовый круглый пятачок дождевого червя. Гладкий да сытый, чуть ли не в два раза толще ужонка, червяк пытлив, не стал держать себя и в этот раз, да и спросил змейку:

– Отчего ты тут один, малыш?

А ужик-то и отвечает:

– Прячусь, – мол, – пережидаяю.

– Чего? – Удивился червячок, утирая с губ вкусную земельку.

– Так тень была надо мной, испужался я, жду.

Рассмеялся дождевой червячок докрасна:

– Ты тут постареешь, ожидаючи, то облако в небе, его бояться не след, а вот птицу, той спуску не давай, берегись, пока мал, да не бойся. От страха слабеют, рассуждение теряют, коли оно есть.

– А коли его нет?

– Ну, в таком разе и переживать не след. Жизнь без понятия об ней и не жизнь вовсе!

Мал был ужик, да смышлён, понял он разницу между сенью облака и тенью птицы, между страхом и осторожностью. Отправился он дальше по дорожке, плутать тропинке, мимо пыльных, дутого стекла, фонарей одуванчиков, промеж острых камней – по гладким да горячим.



## Если есть...

Позабытым, лаковой кожи пояском, уж лежал на берегу. Рядом, подставляя солнечный лучам стройное, звонкое тело и переворачиваясь с боку на бок, возился его юный непоседливый собрат. Малой понимал, что с соседом что-то не так, и стараясь расшевелить, тыкался в него носом с разбегу, тужился пролезть между тугим кренделем его колец, строил рожицы и улыбался дурашливо, сияя розовым нёбом.

Увы, все старания были напрасны. Глаза старшого были мутны и, как казалось, глядели мимо, в то самое никуда, которое находится где угодно, но только не там, где его разыскивают. Мелкий уж, осмотревшись растерянно по сторонам, не нашёл ничего лучшего, как насупиться, уставившись в воду, где с ленивым благодушием парили рыбы. Приподнимаясь время от времени на поверхность, они чавкали чем-то неприлично громко, после чего, чихая с отменным вкусом и объяснимым удовольствием, не всегда успевали прикрыть рот. По этой причине уж вскорости оказался почти что весь мокрый, – с носопырки до талии. Среди больших и малых рыбищ та, что была постарше всех, вскоре заметила ужонка, который, мыкая горе безыскусно, не таясь, в полном расстройстве обсыхал на бережку. Отправив некстати просту-

женную стайку испить из кубышки<sup>56</sup> микстуры, рыба, взобравшись на мель вразвалочку, по-стариковски, подошла к ужонку ближе, и пошептала что-то ему на ушко.

Неизвестно, что сказала рыба малышу, но тот заметно повеселел, приободрился, и, устроившись поудобнее, стал наблюдать, как зашевелился неподвижный до той поры большой змей. Закашлявшись, он попытался пододвинуться ближе к воде, но так как для того явно не хватало сил, рыба, находясь в очевидном благорасположении к ужеобразному семейству, побрызгала немножко на лицо змею, дабы привести отчасти в чувство. Уж благодарно кивнул, отчего кожа на его щеках разошлась и с глаз словно упала пелена. По-прежнему слегка подкашливая, он принялся стягивать с себя линиялое уже трико, сияя свежим взором и посматривая на довольно-го таким развитием событий ужонка.

Змей переодевался во всё новое не более трёх четвертей часа. Ласточки, что прилетали похлопотать подле него, подхватили ненужную уже одежду и зачем-то унесли с собой. Воробей, который тоже хотел получить лоскуток, побеспокоился, как оказалось, напрасно, – платье ужа, хотя и сильно поношенное, было ещё крепким, лишь слегка теснило в груди, а потому сошло совершенно целым<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> алкалоид кубышки содержит лутенорин, антимикробный препарат общего действия

<sup>57</sup> если шкура сползает со змеи кусками, а не целиком, это говорит об её нездо-

Ужонок с восхищением рассматривал новый наряд соседа, касался языком, обнюхивая его, да то и дело с благодарностью оглядываясь на рыбу, которая кружилась неподалёку, от всего сердца сочувствуя сторонней радости. Рыба была в достаточной мере умна, дабы понимать о том, что так же, как не бывает чужого горя, не бывает ничей, не своей радости, Она, любая, непременно тронет язычком колокольчик каждой души. Если она, конечно, есть, та душа... Если есть... Если есть... Если есть...

## На всё воля...

В бытность мою, служил я иподиаконом в некоем монастыре. Обязанности мои были просты. Восстав поутру и наскоро помолившись, шёл я растопить в храме печь. После, вымывшись со тщанием, переодевался в стихарь, водружал поверх орарь, и призвав на помощь Ангела своего, приготавлился к приходу духовенства. Несмотря на загодя разожжённый огонь в печи, мраморные полы, как это бывает обыкновенно в храме, жгли пятки, не позволяя оставаться без дела.

Во время службы мне приходилось не только облачать, подавать, прислуживать, зажигать светильники на престоле, но и петь. Не скажу, чтобы звук моего голоса доставлял удовольствие прихожанам, но, коли приказано священником «Пой!», тут не отопрёшься, а и споёшь, и спляшешь, коли надо.

Священник наш, отец Анатолий, был тот ещё балагур. Пока миряне осеяли себя крестным знаменем, готовясь к его появлению у Престола, иерей вразумлял нас пересказом курьёзных случаев из быта священнослужителей, коими по обыкновению развлекают домочадцев. Прилично хихикая, воодушевлённые подобным манером, мы с дьяком легче переносили тяготы службы и телесные страдания. Оно ведь только со стороны кажется, что церковное служение просто,

а за время литургии столь раз поклонисься, что во всём теле скрип да немота.

Но, – как бы там ни было, всякое послушание выполнялось мной со тщанием. Одно лишь казалось нехорошо, – не был я ещё рукоположен, хотя и изучил всю церковную премудрость во всех её ипостасях, и в мыслях моих обустроивал уже будущий храм, по примеру лучших из лучших, мозаичными сводами. Последним, кто должен был поручиться за меня перед церковью, был отец Анатолий, но годы шли, а благословения, коего я ждал со смиренным нетерпением, всё не было никак. Не допуская в сердце своём ропота, я полагал, однако ж, что, хотя на всё воля Божья, но можно уж было бы оценить мою преданность и усердие.

И вот однажды, когда я, стоя над рукомойником, оттирал руки с мылом, ко мне подошёл отец Анатолий. Я хотел было дать ему место, но, досадливо сморщившись и махнув рукой, чтобы я продолжал своё занятие, он спросил, чего это у меня такая перекошенная физиономия.

– Сейчас только из нижнего крещенского храма вынес за хвост огромную крысу. Жуткая мерзость. – Ответил я священнику.

– Как же она там, отколе?

– Приготовлялось таинство, и тут она, хорошо, что дамы начали визжать и метаться, могли в крестильную попрыгать

от страха. Вынес за хвост вон сию мерзость.

– А разве и она не творение Божие? – Лукаво поинтересовался у меня отец Анатолий.

– Так не в такой час же являть себя, не в святом же месте!

– И чем же ты её... того? – Пристально взглянул мне в очи иерей, от чего сделалось немного не по себе, но я, впрочем, будучи честен с ним, как и с любым прочим, отвечивал:

– Выпустил я охальную в кусты, чего ж буду губить?

– Отчего так-то? – Усмехнулся явно подобревший ко мне отец Анатолий.

– Жалко оную. Еды взыскует.

На следующий же день, по настоянию отца Анатолия и с его благословения, я был рукоположен в священный сан, а уже через неделю, в сопровождении немногочисленного семейства, переправил скудный свой скарб в удалённое от больших городов селение, приход которого состоял из трёх старушек и увечного бобыля в сторожах. Мне предстояло отстроить храм и распространить влияние православной веры на все близлежащие деревни, а уж как, каким манером... На всё воля Божья!

## Здесь живут люди...

Дело было жарким летом, совершенно таким, каким оно обыкновенно бывает на юге, когда рассудок, отказываясь служить, несообразно поводу, направляет в каждую тень или к воде, в любом её виде. Переминаясь с ноги на ногу, сдувая ветром прилипшую ко лбу чёлку, и кидаясь с пирса в распротёртые объятия берега бухты прямо так, в чём есть, беззастенчиво плавился Новороссийск. Славный город, где все белом, -чайки, капитаны с ног до головы, матросы – ровно на треть, по количеству светлых полос тельняшки и локоны волн. Запах солярки, спутавшись с парами морской воды, лучше шипра кружит голову незамужним дамочкам, а замужним – ещё шибче. Но, сейчас не про то.

На железнодорожном вокзале, выскользнув из духоты плацкарты в прохладу приморского утра, вышел ничем не примечательный гражданин. От прочих, по-муравьиному снующих пассажиров, его отличало лишь отсутствие багажа. Ушлые носильщики, сбившиеся в кучку, как мусор к стене, тоскливо, по-собачьи, распахивали сонные рты навстречу рассвету, равнодушно рассматривая гражданина, который, несмотря на ранний час, был тщательно выбрит. В его облике сквозила некая сосредоточенность, коей лишены все отдыхающие, а рука, вместо сытого ненужной одеждой чемо-

дана, сжимала ручку портфеля, местами истёртого до мездры, и, судя по всему, почти пустого. Мужчина выделялся из толпы, пожалуй, ещё и тем, что казался бледнее любого из вновь прибывших, словно его долго держали в запертой комнате. Но и это не было чем-то из ряда вон. Подумаешь, мало ли таких. Замотанный жизнью, усталый человек приехал окунуться в море...

Полагаясь скорее на интуицию, чем на память, мужчина прошёл мимо запертой до норд-оста<sup>58</sup> двери вокзала, и спокойным шагом направился к малому участку земли на берегу Черного моря, до которого, при безветрии чуть больше девяти вёрст, а противу шквала огня противника целых двести двадцать пять дён<sup>59</sup>. В дороге мужчина, по не канувшей ещё в Лету фронтовой привычке, считал шаги. Так же, как некогда, недавно совсем, секунды после свиста снаряда, метры до укрытия или патроны. Да, раньше он был весьма хорош в счёте, теперь же часто путался, сбивался, и, встряхивая седой головой, чтобы расставить мысли по местам, принимался проговаривать вновь:

– Раз... два... три...

---

<sup>58</sup> осенний ветер в этих краях

<sup>59</sup> подразумевается знаменитая героическая оборона «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября с освобождением Новороссийска



Не пройдя и половины пути, мужчина осмотрелся. От развороченных взрывами рельс, что некогда струились почти у самой воды, не было даже следа. Обогнув обгоревшие шпалы, сваленные в приличную кучу, мужчина подмигнул парнишке с лопатой, который выглянул из вырытой неподалёку траншеи. Осыпавшаяся с одной стороны, она, к счастью, не походила на воронку от снаряда.

– Что строим? – Спросил мужчина, и мальчишка, рассмеявшись, охотно ответил:

– Вы представляете, дом! Здесь будут жить люди! И даже адрес уже есть! Понимаете, дома ещё нет, а адрес... уже есть!

Мужчина поглядел на парнишку, – тот, как чистый ручей, звенел, переполненный ощущением счастья от текущего в нужное русло времени.

– Хотите, я вам адрес скажу? – Спросил он срывающимся от волнения голосом.

– Давай. – Согласился мужчина.

– Адмирала Серебрякова, дом номер один! – Торжественно возвестил парнишка и рассмеялся.

Некоторое время спустя, когда, подвернув повыше брюки, мужчина бродил по щиколотку в воде, в его ушах ещё звучал этот весёлый ребячий смех. Рыбёшки щекотно пощипывали его за ноги, приборой норовил лизнуть повыше и намо-

читать штанины. Солнечные зайчики, отражаясь от морской ряби, заставляли его то ли улыбаться, то ли щуриться, пока, обернувшись вдруг на берег, мужчина не заметил, что подле его портфеля сидит полосатый кот. Будто линиялые, нечистые полосы его тельняшки не давали возможности понять, кто он во флоте, какого рода войск. Одно было ясно, что кот далеко не рыбак, ибо он с тоской глядел на воду, и казалось, будто бы решает, – топиться ему или немного обождать.

Мужчина по-своему поняв замешательство кота, окликнул его:

– Эй, бродяга, а ну-ка оправься! Не тушуйся, я тут кое-что припас, обожди маленько.

Выбравшись из воды, мужчина открыл портфель и достал оттуда четвертинку хлеба и бутылку нарзана. Отломив от горбушки, он положил кусочек перед котом:

– Угощайся. Чем богаты, так сказать.

Кот с недоумением поглядел на мужчину, но тот подбодрил его:

– Ты не смущайся, я тоже поем. Мы тут, когда воевали, сперва любой крошке были рады. Ты, хотя и кот, должен понимать.

Кот уяснил, если не саму человеческую речь, но тон, и, хрустя челюстями, жадно прожевал хлеб. Мужчина довольно кивнул:

– А сейчас выпьем, нарзану. У меня, брат, ничего покреп-

че нет, нельзя мне. Как с винсовхоза<sup>60</sup> эвакуировали, с той поры я спиртного больше не нюхал. Ни за погибших друзей, ни за Победу. Врачи говорят, – глотнёшь и амба. А они что, зря, что ли, старались, вытягивали с того света?..

За разговором, мужчина отыскал створку мидии среди камней и налил в неё для кота нарзану. Слушая про то, как люди, удерживая позиции Малой земли, топили лёд и пили воду из луж, кот жадно глотал колючую от пузырьков воду, и для порядка слегка шипел на неё.

Уложив солнце спать, спрятав сморщившиеся от морской воды ступни в носки и распрощавшись с котом, мужчина отправился на вокзал. Он не был похож ни на отдыхающего, ни на командировочного. Он воевал когда-то в этих краях, и хотел узнать, как оно всё здесь теперь.

Поезд, споро пересчитывая шпалы, увозил фронтовика прочь, а он сидел и спокойно глядел в окно. Место счёта в его памяти было занято теперь словами, сказанными тем парнишкой на берегу, полными неисчерпаемой бездны простого, понятного всем смысла. «Здесь живут люди! Здесь живут люди! Здесь живут люди!» – звучало теперь в его голове без конца, и трудно передать, как он был этому рад...

---

<sup>60</sup> в складах винзавода Мысхако располагался госпиталь

## Зато какая...

Сидя на пороге дупла, тихо ворчит филин. Сколь не пытается, не спится ему, не ложится никак. Солнце, расчёсывая свои льняные пряди, оставило их повсюду без заботы про то, что может помешать кому-то. Но они – помеха взору, спутанность ветвям. Пронзают насквозь паучьи гамаки и побитую, словно молью, листву, а, скользя вдоль тропинок, переиначивают их, делая неузнаваемыми, странными, чужими. И только у деки полян, тонкие струны, спускаясь с небес, не чинят препятствий никому. Крепко держатся за землю и жаждут смычка, что тронет их бережно, но твёрдо, дабы услышал, наконец, свет тот сверкающий звук, от которого рассмеётся сердце и расплачется душа.

Да где ж тот смычок? Покуда хватятся его, ослабнут струны, увянут в который раз, утерев настрой до следующего утра, а филин, так и не дождавшись искомого звучания, вновь примется пробовать отыскать его сам:

– У-у! У-у!

Спал бы уж, что ли, филин по ночам, да боится днём обеспокоить соседей. Те нервны чересчур, и при виде его, заламывают крылья, да в рассып, или в драку: «Чего это вы, батенька, не своим часом, да общим коридором, свет жжёте...»

Ну их к косматому<sup>61</sup>, лучше обождать до сумерек, а то, что неспокоен поутру – это так только, от бессонья. Кричит филин, прикрыв глаза, будто это вовсе и не он, собирая в лукошко безлесья гласные, одна другой краше, как на подбор:

– У-у! У-у!

– Так то ж всё одна!

– Зато какая! – Ответствует филин, и продолжает гласить на все лады, – то басом, то тенором, то фальцетом, тянет ноту, медово густеющую на тканом кружеве призрачной паутины дня. Ему-то, филину, ведомо, что звук – точно жизнь, которая тоже одна, но какая зато...

---

<sup>61</sup> Леший, чудовище

# Для любого

Беда, она для любого – беда...

Автор

В карманах у ветра чего только нет: нервное постукивание холодных пальцев дождя по подоконнику, неровные обрывки хриплого эха, тупой, запинаящийся на полуслове, звук топора. Совсем юный ещё клён, услышав его, испугался и оставил играть с солнцем в ладоши. Ветер, порешив подспорить, подсобить мальцу, отвлечь от грусти, толкнул его тёплым плечом, дунул на потный чуб, прогоняя тяжёлые думы. И повеселел клён скорее, чем опечалился, мал же ещё, – и ну как принялся хитрить, успевая увернуться ладошками от солнышка в нужную минуту. Глядя на клён, вздыхал ветер, гладил по вихрам тихонько. Ну, так, кто ещё, кроме него, позаботится об нём, коли улетел парнишка, напялив крылатку<sup>62</sup>, далёко от дома. Не повидать, не докричатся, не коснуться веткой родного ствола.

Оказавшись случайным свидетелем того, как заботлив ветер, весьма озадаченный сим обстоятельством, я остановился в некоторой растерянности, силясь припомнить куда, соб-

---

<sup>62</sup> форма семян клёна, верхняя мужская одежда в виде накидки, распространенная в XIX в.-начале XX

ственно, направлялся. Рассудив, что ноги отыщут дорогу сами, шагнул, и едва не наступил на змею, которая, с недовольным шипением потянула шланг своего тела под куст.

– Эгей! Ты куда!?! Я тебя не обижу, не уходи! – Обиделся я ей вослед, но змея, наученная горьким опытом не доверять людям, затаилась, вероятно, надолго.

Впрочем, очень скоро выяснилось, что змея была не одна. При каждом следующем шаге, тропинка расступалась передо мной, извиваясь щупальцами многих змеиных тел. Казалось, им несть числа<sup>63</sup> и, не желая неудовольствий, я счёл за лучшее замереть, в надежде на то, что отыщется тот, кто придёт на помощь. Но увы. Убаюкавши клён, ветер и сам прилёг, положив голову ему на грудь, так что, кроме шороха змеиных тел о траву, не было слышно ничего.

Старясь не выдать замешательства, я спросил, обращаясь к струящемуся подле ног потоку:

– Ну, быть может, я-таки пойду? – И в ответ, из тени, но без тени сомнения в голосе, зачирикал воробей:

– Нель-зя, нель-зя, нель-зя!

Как ни странно, но именно его незамысловатый, прямой и честный отклик расставил всё по своим местам. Змеиное шуршание стихло разом, мой разум прояснился или тропинка оказалась совершенно пуста.

---

<sup>63</sup> имъженѣстьчисла ( о безчисленномъ множествѣ ) – чего не сочтешь

– Страшно было?

– Да нет. Скорее, опасно. Причинить нечаянно неудобство, ущемить меж камней, поставить перед выбором, – и не дать шанса уйти, не поранив самолюбия, не попортив грациозной стати...

– Как-то ты это... Ведь змеи же!

– Так не повинны они в том, что таковы!

Споткнувшись о кусок коры, изжёванный дождём и ветром, в угоду птицам до пыжа, дабы было чем мягким выстелить гнездо, не думается о том, сколь им, деревом, было перенесено ...страданий. Да и верно ли, что они таковы? Мало кто, представляя про то, имеет в виду не одного лишь себя. Ибо мимолётна она, за иного жаль.

Стук топора о ствол, словно выстрел. Так он и есть – смертельный выстрел для любого из деревьев.



## Никто и не обещал...

Беседка детского сада. Воспитатель посулила отпустить играть каждого, кто скажет стихотворение, не запнувшись ни разу и раз за разом читает его вслух. Вся группа хором повторяет слова, в такт движению её губ, а я хожу кругами в одиночестве, как дурак. Обычно мне достаточно одного раза, чтобы запомнить простой ритм незамысловатых слов. И да, я предпочитаю читать сам, но не такие глупые стишки, а нормальные книжки, на первой странице которых, там, где под именем автора написано название, мелким курсивом указано: «Для среднего и старшего школьного возраста».

Читать интересно. Слова складываются в образы, яркие, живые, будто сны, когда просыпаешься на мокрой от пота подушке или от звука собственного смеха. У меня собственная полочка с книгами. И мне полагается брать книги только оттуда, но иногда, в тайне от матери, удаётся вытянуть что-то и из её библиотеки. Мать ругается, если обнаруживает, что книги стоят не как обычно отдавливая друг другу бока, но после неизменно спрашивает о впечатлении от прочитанного. Я с радостью делюсь переживаниями, не рассчитывая, впрочем, на понимание, ибо давно осторожен с надеждами, и уже почти научился обходиться без них.

– Так что тебе понравилось? – Настаивает мать.

– Мало что... – Бормочу я, хотя и понимаю, что от ответа

не отвертеться никак.

– И всё же! – Не унимается родительница, и я говорю ей про то, как переживаю о несчастьи бедных людей<sup>64</sup>, и доведись нам встретиться, непременно поделился бы с барышней конфектами, что перепали мне от бабушки.

Мать озадаченно глядит на меня:

– И это всё?

– Нет, конечно, – горячусь я и добавляю, – а Гобсек<sup>65</sup> – худший из людей, и не стал бы играть с ним ни за что!

– Я же говорил тебе, что надо запирать шкаф с книгами! – С порога подаёт голос отец, и мать, чтобы не слышал лишнего, посылает меня на улицу. «Проветрить мозги», – так говорит она, но я не понимаю, каким манером можно сделать это, ведь, когда открываешь в комнате форточку, тёплый воздух выходит паром, как из паровозной трубы, давая место холодному. Так неужели же и с головой всё точно так же?! Но я вовсе не желаю лишаться того, что там уже есть, поэтому, вместо того чтобы бегать во дворе вместе со всеми ребятами, осторожно хожу подле кухонного окна, через которое до меня доносятся обрывки спора родителей:

– И это вместо того, чтобы вваливаться домой в "стоячих"

---

<sup>64</sup> «Бедные люди» Фёдор Достоевский

<sup>65</sup> «Гобсék» – произведение французского писателя Оноре де Бальзака, написанное в 1830 году

от снега лыжных штанах! – Возмутился отец.

– А ты... Ты хочешь вырастить из него дикаря... – С не меньшим жаром отвечала ему мать.

Продолжения ссоры я слушать уже не мог, так как, неожиданно для себя, без видимой со стороны причины, прини-мался плакать. Родители, разглядев, наконец, мою переко-шенную рыданиями физиономию, забывали о разногласиях, и мать, накинув на плечи платок, выходила на улицу, дабы увести меня домой. Её дыхание клубилось красиво округ её лица, и долго ещё, до самой ночи, пока меня не отправляли в постель, я присматривался к ней, чтобы понять, сколь от мамы выветрилось, улетело на морозе к облакам, а сколько осталось от неё прежней.

Трясогузки, мама и папа, спихивая с гнезда один другого, пререкаются громко, летают нервно. Воспитание – нелёгкий труд, а возмездие, – карой или воздаянием, настигает скорее, чем рассчитываешь на то. Ну, так, нам никто и не обещал, что будет просто.

# Знаки

Я слышу эхо шагов в одном из соборов Петербурга. Издали. Они не похожи ни на какие другие, ибо сдержаны смирением страха Божия, который не от испуга, но от мук, ниспосланных совестью. Что предпринять, дабы унять хотя отчасти её усердное служение? Как, не сказавшись совершенно бесчувственным, утолить эту непреходящую боль вины перед теми, кто, быть может, даже не заметил её сам, прошёл мимо. А ты-то казнишься. Не ожидая прощения, но желая его больше, чем чего-либо ещё.

...Трясогузка, с приличным даме криком, кидается в омут воздушной волны, словно с берега. Зябко ей, студёно, весело. Знакомо ли ей то, что мешает человеку быть беззаботным и безгрешным, как она? Потрясая ветвями, пчёлы, собирают нектар, и опыляют цветки без умысла совершить то. Две стороны обычного явления... Как знакомо всё, до той же душевной муки, когда ищешь причины нанесённых обид, и, конечно, отыскиваешь их в себе. С той же лёгкостью, с коей твердят:

– Это не я обидел, а ты изощрён столь, что пожелал обидеться!

...Ласточки, сгоняют друг друга на закате с просторной

площади неба, полощут перед сном горло белой микстурой облака, и пена выпускаемых ими воздушных пузырей не мешает майскому жуку совершить свою последнюю посадку. Мотор его ладного самолёта гудит ровно, но пролетит ровно столько, сколь ему отмерено, не более того.

– Чего отмеряли-то?

– Добра и зла.

– Что за ерунда? Причём здесь?

– Чтобы научиться смирению...

– И со скольким злом надо смириться, и для чего?

– Дабы обратить его в добро.

– Ничего не слышал глупее!

– Ну, что ж... Ты просто не слушал. Как не замечал перламутровой от вечерней росы травы, не узнавал в цветущих маках черт инея...

Несть числа знакам, что посылает нам жизнь

# Прощение

Многое говорит о необходимости прощения. Если иметь в виду посторонних, то, коли не слишком задето то, что делает тебя живым, милость даётся до такой степени просто, что даже нельзя назвать её таковой. Необходимость снисхождения к проступкам кровных родственников даётся с трудом. От семьи ждёшь понимания, поддержки, участия, и всё, что кроме – воспринимается не иначе, как вероломством. Однако же, ты с охотой прощая несообразительных, неловких от того кузенов, бесцеремонных от недалёкости дядьёв и болтливых тётушек, да продолжаешь ездить к ним поздравить с днём Ангела, Рождеством и Пасхой, а набивая живот блинами совместно с завистливыми по причине томления одиночеством кузинами, чьи витиеватые, деланно наивные сплетни некогда испортили тебе не одну партию<sup>66</sup>, искренне сочувствуешь их нездоровью.

Будучи сам давно сед, с пониманием слушаешь мать, что в который уж раз шепчет про тебя подружкам, рассказывая про то, как гордо восседал ты на горшке с деревянным стульчаком. И даже, ввязываясь в их беседу, припоминаешь сам о некоем занимательном случае из детства, из-за которого гимназические товарищи прозвали тебя вороной.

---

<sup>66</sup> составить партию – жениться

Истинное прощение даётся непросто, но свершившись, дарует не чаянную доселе лёгкость и освобождение от бремени навязанных тебе греховных идей, недобрых, подолгу, рассуждений об обиде, либо возмездии. Не в том её кровавом виде, который вернее всего подразумевался пращурами, но не менее вредным от того.

– И всё же, есть человек, которого помиловать труднее, чем кого бы то ни было. Знакомый от самого рождения, он часто удивляет своими порывами, высказанными сгоряча обвинениями или приятием немыслимого доселе.

– Вы говорите о себе?

– Догадались... благодарствую!

– И полагаете, что мы не вправе судить кого-либо кроме себя?

– Верно.

– Но... будьте же милосердны, в конце концов!

– К себе?

– В том числе!

Поглядев на визави, я вздохнул, ибо мне нечего было ему возразить. Разве что... Как бы он заговорил, узнай, что много лет тому назад я оказался столь подл, что продал туркам его младшую сестру. Не из любви ко злату, но из страха за свою никчемную жизнь.

# Счастлив по-настоящему...

Детство – это не возраст, и даже не та беззаботная пора, когда твоя главная задача – рассказать бабушке, что нарисовано на дне тарелки, в которую она зачем-то наложила доверху манной каши, и теперь никак не может припомнить о чём там было. Разное у всех, детство одинаково напоено неосознанным ещё, ускользающим в вечность счастьем. Что касается моего, то оно, наверное, как у многих, – с играми в войну, когда каждый хочет быть «за наших» и никто за врагов, приторный взгляд на бабушку, которая, выбирая из кошелька «на мороженое» всегда даёт монетку постарше, да вдобавок позволяет пройти самому до тележки. До неё не так, чтобы далеко, всего два дома, но зато через «чужой» двор, и по возвращении ты чувствуешь себя куда как старше прежнего.

В детстве невыносимо и страшно голоса на всю округу похоронные оркестры, молодёжь криком лужёного горла будит хозяек поутру, а вечно голодные голуби возбуждённо воркуют под крышей. На послевоенной улице было не отыскать ни одной бездомной собаки, а несмотря на то, что все кошки находились в постоянном ожидании появления на свет очередных котят, их каждый раз кому-нибудь, да не хватало. И если мать, уводя зарёванного малыша домой, гово-



рила ему, дабы успокоить: «Не плачь, сказано, через три месяца, значит так и будет, тётя Маруся попусту врать не станет!», – жалко было глядеть на то. Ведь, что такое три месяца в его-то малые годы? Целая жизнь.

В том, нашем детстве мы не смели даже мечтать о своей собаке, но с нетерпением поджидали, когда сосед, который после Победы привёз из Германии двух овчарок, выведет их погулять. Вражеские псы звались Нелька и Дымок, хорошо понимали по-нашему, разрешали себя погладить и даже не брезговали облизать подставленный нос. Тем из нас, кто хорошо знал «из грамматики», сосед вручал в руки поводок, позволяя обойти с собакой вокруг дома. Чаще всего с нами прогуливалась покладистая Нелька. Дымок предпочитал находиться возле хозяина.

Вечерами мы с ребятами любили посидеть на ветках дерева подле забора зелёного театра. Там каждый раз крутили кинокартину про Чапая, и не знай мы её наизусть всю, от первого до последнего кадра, уходили бы незадолго до того, как тонут в кипящей Урал-реке подстреленные врагами Петька с Василь Иванычем. Мы терпели, покуда, – наконец-то! – красные не принимались лупить белых, и так громко кричали «Ура!», размазывая грязными руками по лицу сердечные чистые слёзы, что неизменно падали под ноги парням с красными повязками на руках, как спелые груши. Они дежурили в парке после работы и знали нас, как облупленных.

Быть может, для кого-то, где-то там далеко, детство проходит с ощущением тепла, спокойствия, либо безопасности, и подобно тому, что испытывает цыплёнок под крылом мамы-наседки. В нашем детстве невозможно было помыслить о таком. Невзирая на юные годы, мы жили бок о бок с двумя главными опасениями: потерять близких и подвести их в чём-либо. Именно эти страхи, наполняя нас чувством ответственности, освобождали от лени и подлостей, в соседстве с которыми любая, самая распрекрасная жизнь, не может быть счастливой по-настоящему.

# Греческий стиль

...сочетает в себе несовместимое на первый взгляд разно- речие изысканности и простоты.

Желто-красные, припухшие губы клёна, что мнил себя ве- сомой помехой всего сущего, горели бесстыдно навстречу рассвету. Что уж там с ним приключилось ночью, знали про то Нюктос<sup>67</sup> и Скотос<sup>68</sup>, но теперь он мог, не жалея ни о чём, сдавшись на милость Парсефоны<sup>69</sup>, гибнуть во цвете лет, поддавшись ли чарам Аида, либо по вине подстроенной Тю- хе<sup>70</sup> его встрече с летипорусом<sup>71</sup>. Подхватив где-то по доро- ге от едва видимой веточки до ствола, куриный гриб<sup>72</sup>, клён был, так казалось ему, готов к увяданию, но не считал свою жизнь напрасной или завершившейся слишком рано. Пан<sup>73</sup>, с которым довелось повстречаться ему однажды, поведал,

---

<sup>67</sup> богиня ночи

<sup>68</sup> бог тьмы

<sup>69</sup> боиня царства мёртвых

<sup>70</sup> богиня случайностей

<sup>71</sup> Летипорус (лат. *Laetiporus*) – род грибов семейства Полипоровые (лат. *Polyporaceae*). Грибы данного рода паразитируют на различных деревьях (пре- имущественно лиственных), и вызывают разнообразные гнили древесины,

<sup>72</sup> *Laetiporus*

<sup>73</sup> бог пастухов и дикой природы

сколь многим не удаётся дожить не только до совершеннолетия, но даже до рождения, а посему, – каждый живущий принуждён расценивать любой миг не иначе, как дар, ценность коего была известна, пожалуй, одной Эйрене<sup>74</sup>, да по всегдашней женской забывчивости, утеряна давно расписка, выданная Зевсом раз и навсегда, где-то между небом и землёй.

– Но тем, кто на грани, видимо и так приходит понимание об этом... Впрочем, в пустой след.

– Чтобы зачем?! Дабы горше?

– Чтоб умнее были, в последующий за этим раз.

– Оно бы, может, и ничего, да скоро забудут про то.

Греческие боги тоже совершают ошибки, но наделённые даром бессмертия, они имеют возможность исправить их, если захотят.

---

<sup>74</sup> богиня мира

## В ЭТОТ ДЕНЬ...

– Не бойся, это далеко, пойдём-ка поскорее.

– Ага, как же далёко. Вот он, совсем уже близко! Пыль облаком, нагонит вот-вот.

– Не стой хотя бы на месте!

– Да, не идётся мне что-то. От страха ноги отнялись.

– Ну, не нести же мне тебя?!

– Да ты и не сможешь...

В этот день, я катился печёным яблоком по высушенной зноем дороге, и вспоминал, как радовался весной её отстранённости от леса, из недр которого доносился злобный вой комарих, подлинное воплощение стихийной силы, прозябающей в несогласии с собой, именуемой гинекократией. К счастью, мало кто из числа прожорливых злобных фурий догадывался о существовании тропинки. Пойми они все разом, что всего в десяти сажнях тёплое, наполненное свежей густой кровью существо отмахивается от самых расторопных их товарок прутиком крапивы, мне бы несдобровать.

Летняя пора отчасти уgomонила женское общество, но я был бы более доволен жизнью, если бы мог пройтись хотя часть расстояния в душной тени, а не на самом виду у солнечных лучей. Шёл я уже довольно давно, издавека, так что перестал следить за тем, насколько высоко поднимаются оне-

мевшие от ударов о землю ноги, и именно по этой причине за мной клубилась пыль, ровно как за телегой.

Стирая дорожки мелкой соли, то и дело появлявшиеся на щеках, я и не заметил косуль, что стояли у меня на пути. Они были будто отражение друг друга, но брат и сестра, и это единое, в чём они казались отличны. Не было нужды называться натуралистом, дабы понять их замешательство. Заросли, из которых они вышли, были уже далеко, тропинка, потакая странствующим, льнула к полотну узкоколейки, что зримо трепетала от предвкушения скорой встречи с паровозом. Посему, косули очутились взаперти своих страхов, – мнимых и тех, что вредят мирному течению жизни своею предопределённостью.

Заметив лесных козочек, я остановился. Кровь, доселе пособлявшая мне в ходьбе, словно попыталась излиться прямо под ноги, и я почувствовал, как сильно устал. Не желая во все пугать косуль, я принялся смотреть как бы сквозь их, но краем глаза следил за происходящим. Несмотря на то, что я сам перестал быть помехой, козочки всё ещё были нервны и налитые влагой кабошоны их очей сверкали более от испуга, нежели от самолюбования.

Осмелев, я обернулся, и не медля ни мгновения, понял причину непокоя косуль. Взбивая песок дороги в облако, к

нам приближался олень. Их много развелось в этом году, и всегда нежелательные лишние рты козочек теперь были во все неуместны для них.

Совестно, но моё присутствие не охладило пыл оленя. Остановившись, он не оставил попыток испугать косуль, вместо того он нервно скалился в их сторону одной верхней губой и наклонял голову, чтобы можно было рассмотреть, сколь хороши и крепки его новые бархатные рожки.

Мешаться в олени дела я само собой не стал, но с удовольствием отметил то обстоятельство, что олень ограничился нотацией, и если не оставил вовсе намерений изгнать козочек из присвоенной им части лесной чащи, то отпустил их с миром хотя в этот самый час.

Как часто мы думаем об себе больше, чем заслуживаем в мнении прочих. Ещё скорее мы не думаем вовсе.

# Равновесие

«Зинаида Николаевна Гиппиус<sup>75</sup>

была стервой, но умной дамой.

Она любила повторять:

"Если надо объяснять,

...то не надо объяснять."»

Из беседы с товарищем «об умном»

Всё, что нуждается в объяснении, будет забыто. Прочее витает в воздухе, и каждое следующее поколение черпает его из общего, кипящего звёздами котла, удивляясь каждый раз, – «Зачем всё, что идёт на ум, похоже на уже сказанное в минувшем». Так отчего ж нет? Если именно так и должно. Все озарения хороши, но каждое годно для своего часу, и впору лишь только свойственной ему особой поре.

Чайки парят над холмом из нечистот, как над уровнем моря. Всё так же белы телесно, а об их душе, много ль кому забот? Сговориться бы со своей.

...Глубина пруда не позволяла купаться всем разом, и птицы, устроив себе купальню на листьях кубышки, совер-

---

<sup>75</sup> жена Дмитрия Мережковского



шали омовение в известный час. Подле воды не наблюдалось столь же неподобающей суеты, какова бывала возле трапезной. Каждая чинно поджидала свой черёд, а пока суд да дело, птицы вели неторопливую беседу, в протечении которой уверенно распоряжались судьбами мира, но не затрагивали своих житейских забот, и прочего, за что можно призвать к ответу немедля. Великие дела казались им не в пример мирским просты, а земные, как водится, тяготили больше отпущенной меры. И как поставить им то в упрёк, коли снуют ранние птахи через дорогу были, и солнце им до полудня то в клюв, то в хвост, а после напротив.

...Хмель оплетая ствол шиповника в бесконечном повороте направо. Голубь воркует подле голубки, и повинуюсь велению вселенной, также крутится по ходу времени. Но только ласточки, обводя мир вокруг крыла, как вокруг пальца, вьются в воздухе стрелками против хода часов. А для равновесия во всём или из противоречия здравому смыслу... Как постичь про них, коли порой не в состоянии понять даже про себя...

# Пасмурный день

Пасмурный день – порождение серых мыслей. Он вызывает тревогу и недоверие. К себе и миру, который приютил тебя в сей недолгий час.

В такой день тяжелее всего поэту. Дожидаясь расслышать вольное эхо сиринги Эвтерпы<sup>76</sup>, сидит он, вслушиваясь в хор приставших к жизни звуков. Недовольный ими, как помехой тонкому настрою сердца, распознаёт в себе неразделённую никем пустоту и зависимость от сторонней воли, к чьей власти привык, и перестал различать, где оканчивается, собственно, его «я», и начинается то, что выше всякого: похвал, порицаний и зависти.

– И не трудно тебе так ... существовать? Не обидно?

– Напротив! Я счастлив этим!

– Но ведь настанет однажды тот час, когда минуют тебя молча, и не наградят не испорченным временем чувством, не укажут на то, мимо чего проходят прочие.

– Ну и пусть! Мне будет горько, но прознаю, что уже недостойн даров. И хотя будет недоставать трепета мимолётности, что, сгущаясь подле держала мою руку в своей, сообщая

---

<sup>76</sup> Муза лирической поэзии и музыки, изображалась с сиринойгой (род флейты)

всё то, что должно, довольно того, что уже произошло.

– Ты лукавишь.

– Отнюдь. Благодарность за ласку прошлого не отнимает надежду на благосклонность будущего.

– А не обидно ли пребывать в роли игрушки Провидения, и того, чьего лика не увидишь никогда?

– Вовсе нет. Я мог бы ею и не быть, коль скоро оказался бы ещё глупее, чем теперь. Прозябая в тяготе неумения понять прелести того, что окружает, будешь рад любому цветку, что растит солнечный луч на пышном облаке пыли, просеянной через паутину в углу сарая.

– Но не совестно ли петь с чужих слов, как со своих?

– Так коли с чем породнился душою давно, отчего ж оно не твоё? Ты – малая, но её часть...

Расслышав сий<sup>77</sup> ответ, кинула молния гневный взгляд, и раздался следом надменный хохот грозы.

Пасмурный день – порождение серых мыслей. В такой день тяжелее всего поэту.

---

<sup>77</sup> сей, этот

# Мелодия рассвета

Мелодия рассвета. Она возникает из небытия темноты, как узкая река тени из-за поворота, и сбивает с толку, как с ног. Внезапно, неотвратно лишает рассудка, сменяя дремоту на пребывание во сне бытия. Да и в самом деле, к чему нам разум, коли всё на свете делается всё равно за нас. А стоит приложить к чему руку, так, право слово, уж лучше бы сидели так.

Счастливое утро пахнет недопитой с вечера горечью, осевшей на дне кофейной чашки и щенками. Тронет рассвет тёплой рукой за сердце, сожмёт легонько, так, чтобы показался сладкий прозрачный сок, и отпустит до следующего раза. Ну, это если тому, разу, конечно, быть. А коли нет, – станешь пестовать случай, всё больше приукрашая его в памяти, так что вскоре, подле вычурного, придуманного, напускного, окажется неузнанным и серым любое истинное счастье. Так чего ж ему сказываться, коли не бывает иначе?..

Есть утро в веснушках цветов чистотела и чёлкой виноградной лозы, свисающей на глаза. Или то, другое, с выплывающими дождём глазами. Которое краше? Да всё одно, – то хорошо, что у тебя ещё есть.

Разбитый плафон созревшего одуванчика, чаши ослиного уха<sup>78</sup>, с сочащейся через надтреснутую кромку росой, щегол, что по всё время заглядывает в окошко, позабыв стереть мыльную пену со щёк. Как надоест ему подсматривать, – трясёт крыльями по воздуху, стряхивая жёлтую цветочную пыльцу с крыл. Но ведь кому-то покажется, что он летит! Скажи щеглу – рассмеётся, раскачается на ветке, и тут уж вспорхнёт по-настоящему.

Граница утра, растушёванная облаками, растаяла и на смену капель дождя пришла капель птичьих песен. Они вились гладкими нитями ручья, не испортив ничего ни началом жизни, ни её спрятанной от глаз вершиной.

---

<sup>78</sup> гриб лат. *Otidea onotica*

# Порядка ради

В сахарной пудре гало луна смотрелась, противу ожидания, растерянной. Праздничная её пылкость и алмазная<sup>79</sup> чистота задевались куда-то, щёки болезненно впали, а от той, вчерашней луны, что светилась счастьем и заражала им всё вокруг, казалось, не осталось и половины.

Так, постепенно, перемены в жизни касаются каждого из нас, только в отличие от серебряного измятого чьими-то пальцами шарика, который, стираясь о крупный наждак небес, усеянный твёрдыми крупницами звёзд, являет свой неизменный лик в известный день<sup>80</sup>, сделав вид, будто бы ничего не произошло. А коли спросите вы его, – как, мол, он, и в добром ли здравии, то лишь поднимет бровь надменно и промолчит.

Серая ворона огородничает, доставая из земли личинок майского жука. Выкапывает лунку не абы где, а после того, как выслушает грудную клетку земли, постукивая по ней. Обнаружив искомое, она принимается отбрасывать лишнее, стремясь сделать всё, как надо, – красиво и аккуратно. Особенно завораживает, если ворона, откушав и утерев губы,

---

<sup>79</sup> гало – ореол, помимо других названий имеет и «алмазная пыль»

<sup>80</sup> лунный цикл 29 с половиной суток

удаляется за ствол, словно в женскую кабинку парка. Так и кажется, что немного погоды выйдет оттуда не птица вовсе, а дЕвица в сером сарафане и веником из ивовых прутьев! Да павой пройдясь, не посмотрит ни на кого, соблюдая честь свою и гордость. А то, что из-под подола видны странного вида лапоточки на чёрную сборку чулки... так не её вина! Таковой уж уродилась она.

Лето наскоро плетёт зелёный плащ, который окажется изрядно изношен задолго до того, как будет завершен. Ну и что ж с того. Не для себя старанье, но порядка ради, к которому привыкло всё, но коему ни к чему приучаться-то не след.

# Вовремя

Это могло произойти и на Первомай, или 7 ноября... Впрочем, то неважно. Совсем.

Всюду струились по ветру красные флаги, столбы у дороги пыжились от важности. В бантах лампочек они были готовы продлить праздничный день, подмигивая прогуливающимся в виду заката.

У моего уха тёрлись длинные скрипучие нежно-розовые шарики, через которые видно солнце. Они тянули за руку, звали вперёд, – сперва на шершавую горку каштана, после на прохладную ещё, покатую крышу с усом громоотвода за милыми, игрушечными перилами подле входа в башенку, в которой живут голуби.

Так забавно было глядеть на этот приросший к дому домик. Он казался божьей коровкой на шляпке гриба или приставшим к нему мокрым листом ольхи. Мечталось мне, что заберусь однажды на эту крышу, отмою почти игрушечные колонны, протру кованую сеточку между ними, останусь там жить, и по утрам смогу встречать рассвет раньше всех в городе. Разумеется, исключая звонаря на колокольне.

А тем временем. шарики рвались из моих рук. Им так хотелось попасть в этот домик уже теперь. Им нельзя было медлить. Обожди они всего день, как обмякнут, сморщатся и единственно на что окажутся способны – висеть под потол-



ком, мешая тем, кто внизу, своим безвольно повисшим хвостиком. Кроме меня, у шариков близких никого, и я бы, пожалуй, позволил им улететь. А вот сам не мог пока оставить маму и бабушку, придётся довольно долго ждать, покуда они привыкнут к той мысли, что я буду жить один, там, наверху, где непременно найдётся уголок для маленькой кушетки с кожаным откидным валиком, на который удобно класть ноги. Мне пока этого не требуется, уместился бы и так, но позже, когда подрасту, изошрённость кушетки наверняка окажется весьма кстати. Поверх маленького круглого стола, застеленного мелким неводом скатерти, рядом с самоваром я поставлю полногубую белоснежную чайную чашку, плетёную корзинку из фарфора, полную рыхлых ломтей свежего солодового хлеба и кобальтовый сливочник, который непременно выпрошу у бабушки. Конечно, я уже не маленький, но забелить крепкий чай, плеснув из кувшинчика, никому не помешает.

Размякнув в мечтах, я не заметил, как один из шариков призвал на подмогу ветерок, и, вырываясь с завидным упорством, ослабил узелок, которым был привязан к пальцу, дабы ускользнуть навстречу свободе. Пролетая мимо каштана, он потёрся об него щекой, едва не укололся о подкову крепления водостока, и обернувшись вокруг моего домика на крыше, нырнул в пену облака.

Пока я сквозь слёзы следил за тем, как надувшийся от самодовольства беглец, сравнившись с птицами, исчезает в

вышине, некто прожѐг розовую щѐку присмирившего в руке, последнего шарика, от чего тот лопнул, превратившись в жалкий лоскут. Я не запомнил лица этого озорника, но лишь неприятный запах вина и папирос, да засахарившийся во многих обидах смех.

Два шарика. Один улетел и, распираемый радостью, разлетелся на мелкие кусочки, под пение птиц. Другой лопнул, не повидав ничего, кроме хриплого смеха и моих рыданий. Лучше бы я отпустил их в небо. Обоих. Вовремя. Сам.

## Цветок души...

В детстве мне очень хотелось рисовать. Но не так, как это делали сверстники, а как это умеет сама природа. Ломая карандаши, словно копья, вымучивая и вымачивая краски, стирая кисти, как саму жизнь с лица земли, я был упорен и слегка жесток, ибо в своих рисунках зверски расправлялся со всеми, кто попадался на глаза. Упорно копируя контуры фигур, крыльев, лепестков или стен, я скоро понял, что любое существо, которое тщился изобразить, с завидным упорством изворачивается, только бы не оказаться хотя чуточку похожим на себя.

Оставив попытки передать нюансы, я задумал темнить с подробностями, сохраняя достоверность в воображении. Так было легче смириться с отсутствием способности передать действительность такой, каковой рекомендовала её моя фантазия.

На листе бумаги я громоздил пирамиды людей, укутанных в плащ-палатки. Точно в такой дед вернулся с фронта. Она висела в прихожей, спрятанная за желтоватой шторкой и манила меня своими ароматами пороха, костра, да неизбывной болотной сырости. Бывало, отпрашиваясь за чем-нибудь в кухню, я забегал в тёмный коридорчик и прислонялся щекой к складкам брезента и закрывал глаза, представляя, как пу-

ли, путаясь в струях нешуточного дождя, скользили по нему и падали к ногам деда. Благодарный за то, что у меня он есть, дед, я втихаря припадал к плащ-палатке губами, как к знамени. Но если бы кто застал меня за этим, я бы заплакал, либо смолчал, но не открыл бы причин своей восторженности.

Мы с дедом не были так уж близки. Он очевидно сторонился меня, не считая за недостойную внимания пигалицу, я же обожал втихаря, пририсовывая его образ куда только мог, а так как «своя рука – владыка»<sup>81</sup>, то дед присутствовал почти везде. Звёздочка на пилотке отсвечивала рубином с вершины плаща на берегу моря, у реки, в чаще леса и просто так, под палящими лучами зажаристого блина солнца с безвольно опущенными лучами, что придавало ему сходство с осой.

Иногда я всё же отступал от привычного сюжета, и, вооружившись кисточкой, шлёпал ею по кругу. Получалось нечто вроде цветка, и когда меня спрашивали, что это такое, я с готовностью рассказывал про мой собственный цветочек, которого пока не существует в природе... Любой, кому бы я не говорил о том, перебивал меня одной и той же фразой:

– Ты просто не умеешь рисовать!

Внутренне соглашаясь с этим, я всё же расстраивался, и, удерживая волну подкатывающих к глазам слез, бормотал:

---

<sup>81</sup> Русская пословица, означающая: 1) своеволие сильного; 2) не надейся на других, а делай сам ( Большой толково-фразеологический словарь (1904 г.) Михельсона М. И. )

– Ну, мы это ещё поглядим.

Подруги матери в таких случаях укоризненно качали головой, и неизменно повторяли:

– Ого, а он-то у тебя, оказывается, с характером...

И я каждый раз не понимал, – хорошо иметь этот самый характер или так себе.

Много лет спустя, обзревая свой первый собственный клочок земли, на котором можно было высадить, что душе угодно, я задумался, и, вместо паслёновых<sup>82</sup>, закопал в грядки луковицы тюльпанов. Когда же они взошли, то, принуждая раскрывшиеся бутоны к беспорядочным поцелуям, перепылил их таким же манером, каким некогда пытался рисовать.

Я ничего не ждал от своей выходки. Более того, я вскоре позабыл о ней, но ровно через год в мою дверь постучался сосед.

– Эй, служивый, не поделишься семенами?

Не понимая, о чём это он, я пожал плечами.

– Да цветочки твои! Очень уж они мне приглянулись! Никогда таких не видал!

По-прежнему не разумея, про что, собственно, идёт речь, в сопровождении соседа я отправился к грядкам, дабы разъяснить недоразумение.

---

<sup>82</sup> семейство сростнолепестных двудольных растений (картофель, помидоры, баклажаны и т.п.)

То, что предстало перед моим взором, повергло в шок. За-  
таённое в детстве желание, дало свои ростки: по пояс в зем-  
ле, рядами низкорослых худых солдат стояли придуманные  
мною цветы. Россыпь маленьких красных звёзд на пилотках  
бутонов, напомнила мне, как, прислонившись к плащ-палат-  
ке деда, я стоял и, вжимаясь в неё лицом, рыдал, стараясь не  
слышать надрывного стона духовых у него на похоронах.

Желая чего-то, не страшитесь слёз. Быть может, они един-  
ственное, что поможет созреть цветку вашей души.

# Покуда можешь

– Скажи мне, что такое любовь?

– Я не сумею описать тебе про то, но поверь, любовь – это очень больно.

Виноградные усы шевелились безвольно, как марионетки в вертепе. Ветер умело управлялся с ними, так что чудилось, будто бы он репетирует некую сценку, дабы в условленный день предстать перед нарядной публикой, посрамив<sup>83</sup> своё звание<sup>84</sup>.

С любим, до чего только мог дотянуть свои натруженные руки, ветер был ловок весьма. Особого мастерства он достиг, подражая балалаечному бряцанию, ибо, даже неощутимый, неутомимо упражнялся прозрачным упругим медиатором, производя бесконечную дрожь во всём, чему было дано потакать ветру в каждой его затее.

Не смея перечить ветру, тень от виноградного листа трогательным серым сердечком билась о подоконник моего окна. Глядя на него, я вспоминал о том, как, бывало, трепетало моё собственное сердце из-за наступившей невовремя любви

---

<sup>83</sup> одолевать

<sup>84</sup> ветренный – легкомысленный, непостоянный, несерьезный

или неожиданных, нечаянных обид. К кому было прислониться мне в ту ненастную пору моего отрочества, когда любое слово, сказанное кем-либо обо мне, без намерения обидеть, скоблило душу до ран, многие из которых саднят по сию пору.

Чувствительность играла мной, как мячом, и то прижимала к своей груди, то отталкивала, причиняя боль, которую трудно нести, пока ты ещё юн, и не можешь понять, – за что это, почему именно с тобой. И не возьмёшь никак в толк, что не с тобой одним так.

Перетерпеть все тяготы взросления, стиснув зубы, по силам, пожалуй, человеку зрелому, но увы. Ему уже того не дано. Был шанс, упущен большей частью, от того угрюм. Счастье плавать на огне упоения жизнью, испытанном в её начале, стынет лавою по всё время, и чем больше было её тогда, тем дольше будет остывать, покрываясь скорлупой знания людей и их полного равнодушия к тому, что не про них.

– Упустив многое, о чём пожалеешь ты, человек?

– О боли, которую не позволил испытать себе, опасаясь душевных трат.

Покуда можешь – люби...



# Вина

Чужая вина виноватее

Поговорка

Конечно, всяко можно рассуждать про добро и зло в человеке. Кто-то признаёт за ним равновеликие доли того и другого. Иной верит, что новорождённый, как белоснежный порожний кувшин. Я же думаю иначе. Появляясь на свет, человек столь добр, что кричит от сострадания ко всему существу. И несёт переполненный сосуд с добром по дороге жизни, расплёскивая понемногу. Спустя время, ощутив пустоту в сердце, кому-то удаётся вернуть часть утерянного обратно, а кому и нет. Трудно это. Даже если распознаёшь в себе порывы делать добро, выливается-то оно в момент или степенно, через неузнанную вовремя прореху, но вот чтобы собрать его, приходится прилагать немалые усилия, а у каждого ли достанет сил на то? Как знать...

За окном видно, как листья хмеля опутали небо, а мотылёк дремлет в обнимку с цветком. Ласточки стряхивают отяжелевших от росы комаров в лукошко и несут... несут своим желтогубым малышам. Июньские поздние птенцы, дети. Про них думаешь больше. Болееешь за них так, как никогда за себя. Они в награду или наказание, во испытание или для

утехи? Так кому как.

Набившие оскомину, навязшие на зубах вопросы, ответы, которым нет цены, ибо сторонний опыт, как окольный путь, – всегда чужой, и с каким бы выражением не выслушивал из него, всё равно сделается не так. Пусть хуже, но зато на свой лад, чтобы если кого и винить, то одного лишь себя. Но и тут подвох, – достанет ли чести повиниться? Чтобы сказать: так, мол, и так, виноват. Сам. Один.

Вот тут-то и дано будет зачерпнуть человеку добра. С ароматом полыни, терпким запахом дубовой коры, да дурманом белых цветов калины, от которого перехватывает дыхание и слезятся глаза.

– Ты плачешь?

– Нет, тебе показалось.

– Я же вижу! Ты опять плачешь!

– Ну, не получается по-другому, никак.

– Успокойся, пожалуйста. Ты не виновата.

– Совсем?

– Конечно!

– Так не бывает. Человек всегда, хотя в чём-нибудь, да виновен.

– Перед кем?!

– Хотя бы перед собой...

# Динка

Тяжело шаркая ногами от усталости, скопившейся за время лихолетья, шёл послевоенный сорок седьмой год...

Окружённый всю свою сознательную жизнь людьми в сопровождении хорошо обученных овчарок, вполне понятно, что я, как и все мои товарищи, бредил собакой. Но, конечно, не овчаркой, кто бы мне позволил её иметь, – я же не был служивым. Хотя на улицах города иногда встречались необычайно красивые особы, у левой туфли которых мерно ступал, ни на кого не обращая внимания вышколенный пёс. Провожая взглядом такую парочку, я горько вздыхал. Моя мать была посудомойкой в солдатской столовой, и разница между дамой и тяжело работающей женщиной была столь же неприятна, сколь очевидна...

– Мам, а где Динка?

– На базар отнесла, сынок.

Я посещал третий класс гимназии. В первый нас записывали тогда с восьми лет и теперь мне было уже одиннадцать. Мог ли я заплакать? Конечно. Но не стал. Не хотелось обижать мать, и поэтому я предпочёл промолчать.

Если по совести, такса Динка почти всё время, пока считалась моей собакой, просидела на цепи в общем дворе. Этому поспособствовали первые пять минут её жизни в нашей комнате. Когда однажды, поддавшись на мои уговоры, мать принесла собаку, ощущение счастья до слёз сдавило горло горячей рукой, но собака, – моя славная несчастная глупая собака, – в момент испортила всё дело. Как только её спустили с рук на пол, она сразу забралась в узкую щель под шкапом, откуда после недолгой возни выбралась и наделала лужу прямо посреди комнаты. Отправляясь за тряпкой, мать сказала, что надрываться после работы, оттирая загаженный пол, она не станет, а посему, если я не передумал насчёт собаки, жить ей придётся в будке у забора общего двора. Не решаясь перечить матери, и понимая, что не смогу уследить за собакой сам, я согласился, надеясь наблюдать за ней хотя так, через окошко, либо, когда не надо будет готовить уроки или пасти на кладбище козу, сидеть подле будки, трогая пуговку мокрого носа, проводить пальцами по лбу и шептать на ухо ласковые слова. Я делился с Динкой своей порцией обеда, а иногда ей перепадала и требуха от свиней, что резали соседи тут же, во дворе.

Моя милая Динка... На деньги от её продажи мать купила муки, и какое-то время пекла вкусные шанежки, чтобы нам с сестрой было что покушать, кроме объедков из помойного ведра столовой. Румяное тесто на тарелке исходило паром,

в котором мне неизменно мерещился доверчивый собачий взгляд и длинная плоские косы её ушей. Горестно вздыхая, тем не менее, я откусывал раз за разом и жевал, глядя в никуда, ибо был вечно голодным мальчишкой, пережившим войну, познавшим сладкий вкус голубей, да лебеды.

Немного утешало меня лишь то, что с тех пор, я мог честно сказать, – в детстве у меня была собака, звали её Динкой, и больше всего на свете она любила сидеть под шкапом. Ну, конечно, коли где заходила о том речь...

# На откуп памяти

– Как спалось?

– Ужасно. Твои дурные птицы начали трещать в четверть третьего!

– Прости, что они тебе помешали, но это лес. Они тут всегда, мы, по сути, у них в гостях, ну и вообще – в этом мире.

– Да как ты тут, вообще, живёшь? Это невыносимо! Поезда трясут дом, ухватив его за грудки так, что с потолка летит штукатурка. Оттуда же в чай планируют один за другим пауки. И ещё эти, твои... с крыльями.

– Птицы?

– Именно. От бессонницы памяти никакой не осталось.

– Жаль, что тебе тут нехорошо. Меня, напротив, только здесь отчасти наступает умиротворение. Постоянно кто-то подаёт свой голос, мешая прислушиваться к собственному.

Пережившие войну люди не могут спокойно слышать тишину. Они загромождают её посторонними шумами, топят в заботах о других, часто никому не нужных разговорах и делах со многими сопровождающими их звуками, чтобы заглушить в себе напряжённое ожидание очередного взрыва. Сколь ни прошло бы лет после, пока живы те, в чьё детство вплелись недетские страхи, а место куриной ножки с бумажным бантиком на тарелке было занято перекрученным мя-

сом крысы, война не окончится никогда. Но и после, внуки, правнуки тех, отточенных до грифеля нерва, с болью в сердце не перестанут повторять следующим поколениям про то, что их предки, будучи «вот, такими же, как ты теперь», – прятались под столом от бомбёжек, или срывали глотки в победном «Ура!» ...

Отданные на откуп памяти десятилетия. Имеется ли в этом смысл? Не увели ли нас воспоминания о прошлом с более удобного пути? Хотя, пусть мы часто не способны лукавить лишь по-привычке, а честный путь всегда неудобен, но нам претит нечистоплотный уют.

И коли кажется кому, что правильнее и проще постараться скорее позабыть обо всём, – он недобр<sup>85</sup> и снова хитрит. Если бы в ратных подвигах не было б никакого толка, отыскался бы он в жизни самой?

---

<sup>85</sup> То же, что: Чёрт, Дьявол, Нечистый.

# Прекрасный мир

## I

Её обморок был недолгим, но напугал до чёртиков. То ли я оказался-таки чувствительным, неожиданно для самого себя и в разрез с общим мнением обо мне, то ли из-за того, что то был первый в нашей совместной жизни недуг, но я стоял, дурак дураком, а она, разом превратившись в ватную куклу со стеклянным в никуда взглядом, стекала на пол прямо у меня на глазах. Именно так – обмякнув, она полилась по стеночке, словно вода с потолка.

Опомнившись наконец, я подхватил её почти у пола и отнёс на кровать, дабы неловко похлопотать подле, а лишь только она пришла в себя, пристроился сбоку, – мы вдвоём спали на односпальной, – и принялся за расспросы.

То, что я узнал, повергло в смятение. Вскочив с кровати, я забегал по комнате:

– Нет, ну ты вообще дурная...

– Почему?.. – Она прятала от меня глаза, под которыми растеклись темные озёра кругов, коих заметить раньше мне было недосуг.

– Да потому, что это не шутки! Мы – семья! За что ты так со мной?!

– Я думала...



– Думала она. Чем? Чем ты думала, скажи на милость!!! – Злой и растроганный одновременно, я обнял её так крепко, как она смогла бы выдержать, не вскрикнув.

Ох... как непростительно молоды были мы. Моего скудного заработка едва хватало на скромное «пожевать» и на проезд до работы, назад я шёл пешком. Юная жена оставалась «по хозяйству», и к моему приходу накрывала на стол ужин, а небольшой свёрток для моего обеда на работе уже лежал в «холодном» шкафу под подоконником. Холодильника у нас не было.

Пока я жевал, жена не сводила с меня влюблённых глаз, а на вопрос, отчего ничего не ест сама, отвечала, что уже сыта.

И вот – этот обморок. Выяснилось, что глупышка тратит все деньги на еду для меня одного, а себе покупает по одной морковке в день, как она выразилась, «на сдачу».

Когда, разделив с нею ужин, я обнимал её, сонную, раскрасневшуюся от еды, то был более счастлив, чем голоден и думал о том, как прекрасен мир, несмотря ни на что.

## II

Поутру, кудрявые стружки птичьих голосов ссыпались в покрытую росой траву, не раня её, но трогая за щёку нежно, как младенца. И улыбалась роса сонно и ясноглазо.

– Как чуден мир! – Скажет иной, наблюдая за этим, и бу-

дет совершенно прав.

### III

Ни с чего злой ветер, проходя мимо вишни, задел её плечом, и птенцы дрозда выпали из зажатого развилкой ствола гнезда. Ворон, что с жадностию отца немногочисленного, но прожорливого семейства, давненько поглядывал в эту сторону, не стал терять время, и первого птенца проглотил чуть ли не целиком, а второго разделал ловчее мясника на привозе. Окорочка отнес в один угол сада, крылышки в другой, тушку в третий.

– Дельный, своего не упустит. – Уважительно заметит тот, который и сам по жизни хват.

Но другой, кто не глядит в спину времени, у кого не кружит голову от карусели стрелок часов, ибо следует он за крадущейся тенью солнечных лучей по земле, не заснёт в эту ночь и, не совершая никакой ошибки, будет бормотать сквозь слёзы о том, как же, всё-таки жесток этот мир.

Только правым будет не он один...

# Гимн природе

Машет бабочка красным платочком крыл с чёрным чётким узором. То ль провожает кого, то ли наоборот.

Набегавшись по травинкам, присела на бережок в вишнёвую тень пруда, водицы испить. Подвернула подол крыльев, прильнула и пьёт. Да так долго... Уж и тень отошла к рассветному краю, а ей либо всё мало, иль не может налюбоваться никак на свою красу, – тонкие черты да белые руки чуть видны из бархатных нарядов, расшитых жемчугами да самоцветами. Уж глядел-глядел на бабулю, сперва полежал, потом задремал, сонный чуть не угодил в воду, да бросил смотреть за нею и протёк с берега под куст глубоким ручейком.

Что уж там разглядывала бабочка, нам не прознать про то. Люди и сами, хмурясь своему отражению, не понимают, что хотят разглядеть.

Время утюжит складки на лицах людей, они называют их морщинами. Кто улыбается больше напоказ – у тех один закрой, а у тех, кто смеётся и плачет от сердца – иной... У них глаза чище, что ли. Похожие на небо после дождя, лишённое облаков, как лукавства, они не чинят препятствий никому, подпуская близко к душе любого.

Нежной летней снежинкой – объятия двух бабочек, соединённых в одну. На виду у всех. Не от того, что лишены стыдливости, но потому, что негоже прятать от людей такую красу. У них самих так-то уж не выйдет ни за что...

Резные гордые колосья трав, досыта напоенные летними ливнями, – истинный гимн природе, о которой мы не знаем ничего.

## Столь яду в нас самих...

– Ой... простите пожалуйста!

Уж лежал прямо у входной двери и при моём появлении захлопотал, дабы скрыть замешательство, и ему это почти удалось, если бы, неловко оступившись, он не ушибся о порог.

– Да не спешите вы так! – Приободрил я ужа. – Вы вон туда отойдите, под лавку, и разойдёмся.

Ужак не медля воспользовался моим предложением, но тут уж слегка запаниковал я сам, ибо, судя по всему, явно поторопился принять змею за ужа. Стоило ему обернуться, как я не заметил ничего из ожидаемого: ни янтарного ожерелья, ни щёгольского оранжевого шарфа, ни чуть розоватых от смущения щёк. И тут же ужас, угодливый и вездесущий, сделал небольшой, едва заметный шаг мне навстречу. Надо ли говорить, что хватило и его, дабы остановить моё намерение войти в дом.

– Прошу прощения, обознался... – Пролепетал я и замаялся на месте, не доходя до собственной двери пары шагов, и уже во всю представлял развернутую пасть гада, который, обвивая мою ногу, нависает над нею, как над чашей, дабы вонзить истекающие ядом клыки. А дальше – синева отёка и бездна.

Я с детства обладал недурным воображением, мешавшим

заснуть. Стоило матери закрыть дверь детской, как из занавешенных паутиной углов потолка появлялись немыслимые рожи, скалившиеся в мою сторону. Но нынешний страх имел под собой куда более веские основания, помимо буйной фантазии ребёнка.

В отличие от меня, змей, не теряя самообладания, забрался, как и было условлено, под скамью, но так как я не двинулся с места, то, верно расценив моё замешательство, взял ситуацию в свои невидимые миру руки. Уж исчез. Поправляя выцветшую на солнце манишку, он просочился чёрной водой в неширокую трещину возле ступеней, оставляя меня один на один со своими сомнениями, страхами, наветами, — да прочим ядом недоброжелательства и злобы.

Настиг ли меня стыд? О том промолчу.

Сменив посох Асклепия<sup>86</sup> на чашу Гиппократата, змей был совершенно неопасен, но что с того, коли столь яду в нас самих.

---

<sup>86</sup> древнегреческий бог медицины

# Не скрывая желаний жить

Удит травинка на берегу реки, не для того, чтоб изловить кого, – так только, посидеть, подглядеть за перламутровыми ручьями рыбёх, что вперемежку с косяками облаков снуют, погоняемы, кто течением, кто ветром. Бок о бок с травинкой сидит человек, угрюмее угрюмого, сердитее сердитого. Чтобы ему печалиться, в такой-то день? Да мало ли. У каждого – своя тоска.

Откуда ни возьмись – человечиска. Каргуз мятый, зипун тёртый, без козыря<sup>87</sup>, да по всему видать, что и сам не козырь<sup>88</sup>. Подходит сей проходимец<sup>89</sup> к человеку, здоровья желает, речь заводит:

– Крестник ваш велел вам кланяться, как увижу.

– Какой ещё крестник? – Недовольно переспросил человек.

– Ну, такой, с пегим, седоватым вздыбленным чубом! Жалкий весь, голова в пуху, лицо в чирьях.

– Не знаю я никого! – Сказал, как отрезал человек, и прохожий, заметно смешавшись, просительно уточнил, – Так я про того птенца ласточки, что вы изволили давеча дважды в

---

<sup>87</sup> стоячий воротник

<sup>88</sup> видный, важный

<sup>89</sup> прохожий

гнездо покласть, когда оне выпали оттуду по неосторожности.

– Ах, вот оно что! – Лицо человека заметно размягчилось и улыбка, неожиданно нежная, озарила суровое лицо.

В городе ходили слухи про него, будто бы по-нечаянности зарезал кого, али при нём то было и чужую вину на себя принял, – кому о том знать, как не ему. Но он молчал, и охочему до чужих секретов люду ничего не оставалось, как придумывать разное. А быль то была, либо небылица, – по-ди, разбери.

Чиркают птицы томными голосами по тёмному боку неба, высекая искры звёзд и пламя гаснущих от дуновения вселенной метеоритов. Слившись почти с синевой июньской ночи, сидит некто под гнездом ласточки, дабы поймать непоседу птенца раньше ежей, ужей да котов. Малыш любопытен, тесно ему в гнезде, но стоит потянуться чуть дальше края, как тяжёлая, полная дум голова перевешивает, и он летит, торопится обнять всю землю раньше сроку, а сам-то, – с напёрсток белого яичка, сквозь который пытался разглядеть белый свет.

– Хорошо хоть лёгкий, как пёрышко, а то расшибся бы давно. – Думает некто и тянется очередной раз посадить в птичью колыбель прозрачного ещё младенца. Бьётся его крохотное сердечко у всех на виду, честь честью, не скрывая



желания жить.

Радение, в противовес чужому безучастию, будет ли засчитано добрым делом? Как знать. Ну, а коли и нет, не пропадать же птахе.

– Посижу ещё седмицу<sup>90</sup>, покуда птенец окрепнет, авось не перетружусь, – решает человек, по привычке принимая на свой счёт то, что ни за что<sup>91</sup> не вменили б ему в вину.

Удит травинка на берегу реки, не для того, чтоб изловить кого, – так только, посидеть, лизнуть водицы зелёным язычком, провести по пухлой щёчке облака нежно...

---

<sup>90</sup> семь дней

<sup>91</sup> никогда

# Счастье

Перебил ветер белки облаков, и вместо неба цвета розовой пастилы, разбросало повсюду клочки серой ваты. Один лишь, согнутый вдвое, проглаженный ногтем белый лоскут порхает бабочкой-капустницей, – вот и всё, что осталось от облачка. Так же мало, подчас, остаётся и от жизни. А бывает, что и вовсе ничего.

– Встать. Суд идёт.

– Является ли ваше желание расторгнуть брак обдуман-  
ным?

Он и она посмотрели друг на друга, и рассмеявшись, почти хором выпалили: «Да!!!»

Судья счёл их развод в годовщину бракосочетания фиктивным, нужным для какой-либо безделицы, вроде получения бОльшего, чем полагается, жилья, но в самом деле этот день оказался единственным по-настоящему счастливым в их семейной жизни.

Свадьба была, что надо. Крахмальные скатерти, придавленные блюдами, сияли хрусталём, словно алмазными подвесками. Хозяйка не поскупилась, и выложила из шкатулок

потемневшее столовое серебро. Обронённая с тарелок икра не успевала запачкать скатерть, игристое прилично пенилось, а горячее, поданное в нужный час, избавило от неприличных, привычных на свадьбах пьяных драк, но не помешало уколам ревности пробиться сквозь состояние некой отстранённости, присущее всем новобрачным. Отвергнутые бывшие не преминули воспользоваться случаем и явились без приглашения, но даже им не удалось посеять разлад и зерно сомнения, так что вскоре, ровно, как и прочие, они принялись провозглашать тосты, да вести отсчёт горечи прилюдных дозволенных лобызаний.

Молодым казалось, что всё, что подле, происходит не с ними, праздник, устроен не для них, а для кого-то из друзей. Когда очередные запоздавшие гости пытались вручить им конверт, через приоткрытый уголок которого просвечивали купюры фиолетового цвета<sup>92</sup>, они не знали, зачем он им, и передавали из рук в руки, пока мама новобрачной, которая управляла весельем, не брала всё в свои руки: и букеты, и конверты. Новоиспечённая тёща была не в восторге от зятя, и даже не старалась скрыть этого, а потому ходила промеж гостей со строгим и брезгливым выражением. Весь её вид говорил о том, что она, хотя и не одобряет сей затеи, и устраивает свадьбу лишь от того, что это долг любой приличной матери.

---

<sup>92</sup> 25 рублей СССР

Новую семью поселили в квартире бабушки, которая не слишком уж хотела расставаться со своим одиночеством и независимостью, но ради счастья внучки она вступила в мутную воду совместного проживания со взрослой дочерью... Впрочем, счастье как-то всё не наступало, вместо были довольство и размеренность – те признаки, которые часто принимают за него.

Молодые, словно опасаясь оставаться наедине, приглашали друзей, придумывали развлечения одно за другим, но едва закрывалась дверь за последним гостем, как она уходила в кухню, а он оставался в комнате.

Все вокруг восхищались прекрасной парой, а им нечего было сказать друг другу не на людях, ни наедине.

...Длившееся три года супружество было прекращено в тайне от окружающих. Их бы не поняли. Ни за что. На пороге суда она тронула его за руку:

– Спасибо тебе...

– За что? – Удивился он.

– Ты не сделал меня несчастной, и теперь я знаю, что мне искать.

– Ну, хоть так. – Усмехнулся он, и наконец свободные друг от друга, они разошлись в разные стороны.

Так же, как не дано захватить в чужое счастье<sup>93</sup>, так же не попадёшь и в своё, оно или есть, или его нет.

---

<sup>93</sup> «В чужое счастье не заедешь» (поговорка), словарь В. И. Даля

# Галантерейный магазин

Шиповник пахнет галантерейным магазином детства. Там, где рядом с плоскими склянками тройного одеколона и розового масла лежали россыпью иголки всех мастей, от видимых едва до вечных «цыганских»; матрёшки булавок, от крошечной до нелепо огромной «английской», да портновские гвоздики, украшенные разноцветными бусинками или аскетические, с завитком металла на конце. Подле вялой, вязкой, будто сваренной лапши мулине, располагались перетянутые прочной бумагой хлопчатые белоснежные нитки для вязания «Тюльпан»; причудливые, связанные на манер баранок, монетки пуговиц, тут же – порошок пахнувшей нафталином фиолетовой краски для чулок, и спицы, крючки, пяльцы, но самое главное, – деревянные катушки разноцветных прочных ниток. Из одной такой вот катушки и кусочка резинки от рейтуз выходил замечательный самострел. Но и это было ещё не всё. Мальчишки строго следили за тем, чтобы мать не выбросила случайно голенькую, пустую катушку. Ведь стоило набрать их побольше, и из них выходили отличные колёса всамделишных грузовиков. Надетая на оси карандашей обувная коробка резво катилась по полу, по половичку и под кроватью, но переезжая через порог буксовала не по-детски. Деревянные колёса крутились вразнобой, так что приходилось помогать им, что есть мочи:

– Рр-ы! Дж-рр-ыы! – Кряхтит во всю мочь своих лёгких юный конструктор. Перемазанный грифелем и красками, с оторванной наполовину пуговицей, он так хорош, что мать не сердится на беспорядок в одежде, но умиляясь, отирает потный его чуб краем передника, и, чмокнув в макушку, спрашивает:

– К обеду-то ждать тебя, рабочий человек?

Малыш кивает важно, и спохватываясь вопрошает, чтобы уж наверняка не прогадать:

– А компот будет?

– Будет! – Ласково отвечает мать.

– Со старой ягодкой? – Радуетя мальчишка.

– С нею, сынок. – Растроганно смеётся мать. Её малыш, едва научившись говорить, называет чернослив «старой ягодкой», от того, что у неё «все щёки в морщинах, как у бабули».

Галантерейный магазин детства. Именно в нём, через год-три, скопив деньги, что выдаёт мать на обед, первоклассник отыщет ей в подарок к женскому дню самую красивую игольницу, или каплю розового масла, продетую в красочный кусок картона, а ещё через несколько лет, всё в том же галантерейном, с первой зарплаты, купит матери красивую шаль, которую будет хранить она в своём девичьем сундучке<sup>94</sup>, да так никогда и не наденет, из боязни попортить случайно.

---

<sup>94</sup> сундук, в который девушки складывали приданое, что шили сами с детства

...Шиповник пахнет галантерейным магазином детства. Или, быть может, это детство так сладко пахнет шиповником, что голову кружит...



# Полнозвучие бытия

– Как полагаешь, есть в жизни смысл?

– Знамо, есть.

– А каков он?

– Ну, так это с какой стороны посмотреть...

– Ага, не ведаешь! Нет его, смысла! Вот, к примеру, в саду, вишнёвом, его и то поболе!

В мягкой обивке облаков, небо, не в пример лесу, гляделось податливым, уступчивым и нежным. Лес же топорщился, ершился и ёжился, ибо всю ночь напролёт плясал на пару с ветром, так что не мог ещё остановить дрожь во всех членах, которая давно уж была мимо такта.

Умолкли укоризненно птицы, чей слух коробила любая фальшь. Топят они горе своё в пруду, рассвет полощет горло их голосами. Убавили огонь под кипящими котлами лягушки. Замерли ужи и даже бабочки усмирили своё порхание в угоду назиданию, которое должно было свершиться вот-вот.

Соловушка, зависнув в полёте у окошка, трусит крыльями, трещит тихим звоночком, любит незрелыми кукурузными початками кактусов в горшках на подоконнике.

Трясогузка отчитывает время шершнями, в её часе заклю-

чено их не менее двух десятков, и переступает птица по земле мерно, будто бы ходики: там-так, там-так, там-так.

Сосна-скороспелка, ей десять едва, а в ушке сияет уже, украшенная бриллиантиком смолы, зелёная, как бы покрытая эмалью шишечка<sup>95</sup>.

– Дрозды давеча обнесли вИшневый сад...

– Вишнёвый!

– Так то ж ежели бы вареньев из него напечь, пенками со сливками себя побаловать. А так – нет, вИшневый и есть<sup>96</sup>. Прикрывает собой землю, дабы место не пустовало.

Покуда мы не перестанем искать в жизни смысл, не появится он, ибо полнозвучие бытия, – в умении оценить его по достоинству за отведённый тебе срок.

---

<sup>95</sup> в лесу сосны плодоносят с 40 лет, отдельно стоящие с 15-30 лет

<sup>96</sup> Антон Павлович Чехов придумал сию градацию